Свободное падение

Автор:
Уильям Голдинг

Свободное падение

Уильям Голдинг

От невинности – к мудрости.

От чистоты детства – к печальной зрелости и старости.

Такова судьба человека вообще – и человека, каким видит его – и заставляет нас увидеть – Голдинг в этом не самом обычном из своих романов, лишенном обычной для автора параболичности – и представляющем собой один из величайших шедевров англоязычного психологического реализма XX века.

Любовь. Дружба. Предательство. Предназначение. Судьба. Возможности и шансы, столь легкомысленно упущенные…

Невозможно вернуть утраченное – но можно переосмыслить былое на склоне лет – так, как делает это герой романа «Свободное падение».

Уильям Голдинг

Свободное падение

William Golding

FREE FALL

Перевод с английского И. Судакевича

Компьютерный дизайн А. Барковской

Печатается с разрешения издательства Faber and Faber Limited и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© William Golding, 1959

© Перевод. И. Судакевич, 2011

Школа перевода В. Баканова, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2011

1

Я ходил по книжным развалам, где некогда пурпурные, а ныне выцветшие тома с загнутыми уголками страниц вспыхивали белой осанной. Я видел людей, увенчанных двойной короной, с посохом и бичом в руках – символами славы и власти. Я понял, как звездой становится шрам, я на себе ощутил упавшую искорку, чудотворную и исполненную Святого Духа. И со мной шагало мое прошлое: в ногу, заглядывая мне за плечо серыми ликами. Я живу на Парадайз-Хилл, «отрадном холме», в десяти минутах от станции, в тридцати секундах от лавок и местного паба. И все же я – распаленный дилетант, истерзанный

иррациональным и бессвязным, пребывающий в неистовом поиске и уже вынесший приговор самому себе.

Когда я потерял мою свободу? Ведь некогда я был свободен. Обладал правом выбора. Причинно-следственная механика есть статистическая вероятность, и все же мы порой действуем ниже или за гранью этого порога. Свободную волю нельзя обсуждать, ее можно лишь познать на личном опыте, подобно цвету или вкусу картошки. Помнится мне один такой случай. Я, совсем еще малышом, сидел на каменном бордюре пруда с фонтаном в центре парка. Ярко сияло солнце, склоны пестрели красными и синими цветами, зеленела лужайка. Невинность и безгрешность, лишь плеск и брызги фонтана в центре. Я выкупался, утолил жажду и теперь сидел на прогретом каменном краешке, безмятежно размышляя над следующим своим занятием. От меня по всему парку разбегались дорожки из галечника, и в какую-то секунду я оказался всецело захвачен новым знанием. Любая из этих дорожек была мне доступна. И все они манили одинаково. По одной из них я и припустился вскачь, предвкушая радость от вкуса картошки. Я был свободен. Сделал выбор.

Как я утратил мою свободу? Надо вернуться и рассказать всю историю заново. История эта любопытна, но не внешними событиями, а скорее тем, как ее вижу я, единственный повествователь. Ибо время не выложить в ряд, как дорожку из кирпичей. Эта прямая линия от первого младенческого всхлипа до последнего вздоха – мертвая абстракция. У времени два состояния. Одно из них столь же естественно присуще нашему восприятию, как вода для скумбрии. Второе состояние – память, чувство бренной суетности мира, где один день кажется ближе другого, потому что он более важен; а вон то событие зеркально отражает вот это, а те три происшествия вообще обособились своей исключительностью и не укладываются в прямую линию. Тот день в парке я ставлю первым в моей повести, и не оттого, что я был малюткой, чуть ли не младенцем, а потому что свобода стала для меня более ценной, коль скоро мне все реже и реже удается вкусить картофеля.

Все системы я развесил по стене под стать ненужным шляпам. Не годятся ни формой, ни размером. Каждая из них заимствована, сшита по чужим лекалам; одни безынтересны, другие потрясают красотой. Но я прожил достаточно долго и могу требовать фасон, который подошел бы ко всему, что мне известно. И где мне его взять? Тогда зачем я все это пишу? Может, это и есть тот «фасон», который я ищу. Вон в середине висит марксистская шляпа; хоть когда-нибудь я думал, что она прослужит мне до конца жизни? А чем плоха христианская

скуфейка, которую я почти не надевал? Рационалистическая шляпа Ника прикрывала от дождя, казалась несокрушимой панцирной броней, тусклой и благопристойной на вид. Сейчас она выглядит мелкой и довольно глупой; котелок как котелок, очень формальный, очень законченный, очень невежественный. Имеется и школьная кепка. Я просто повесил ее на гвоздик, понятия не имея о тех шляпах, которые доведется вешать с ней по соседству, когда приключилась та вещь – я имею в виду самостоятельно принятое решение, за которую пришлось заплатить свободой.

Да сдались мне эти шляпы… Ведь я – художник. Могу надеть любую какая глянется. Вы, должно быть, слышали обо мне: Сэмюэль Маунтджой, висит в «Тейте»[1 - Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание английского искусства XVI–XX вв. Названа по имени основателя, промышленника Генри Тейта. – Здесь и далее примеч. пер.]. Мне простителен любой колпак. Даже людоедский. Хочется, однако, носить шляпу не на потребу публике. Хочется понять. Серые физиономии заглядывают мне за плечо. Ничем не отвадишь, не изгонишь этих бесов. Одного лишь моего искусства не достаточно. К черту искусство. Ярость – как, впрочем, и половое влечение – вытаскивает меня из глубокого колодца, а людям мои картины нравятся больше, чем мне самому; в отличие от меня они считают их значительными. В глубине души я – скучная псина. Предпочитаю быть скорее добропорядочным, нежели умным.

Так зачем я взялся это излагать? Отчего не брожу кругами по лужайке, перетряхивая воспоминания, пока они не обретут смысл, распутав и наново сплетя гибкие пряди времени? Я мог бы соединить одно событие с другим, а мог бы и вовсе через них перемахнуть. Надо бы отыскать систему для нынешних моих кругов на траве, а назавтра ее поменять. Но вот размышлять кругами на этой лужайке уже не достаточно. Начнем с того, что она напоминает прямоугольник холста, область ограниченную, с какой бы изобретательностью ты ни накладывал мазки. Есть предел вместимости для человеческого ума, однако осмысление требует размаха, который способен охватить все запомненное время, после чего надобно сделать паузу. Пожалуй, если я стану излагать эту повесть так, какой она видится мне, удастся возвращаться назад и выбирать. Жизнь ни с чем не сравнить, ибо она вмещает все, к тому же слишком тонка и пышна для осмысления без подмоги. Живопись же подобна конкретной позе, отобранной из числа многих прочих.

Есть еще одна причина. Все мы немы и слепы, хотя должны бы видеть и говорить. Я не про заросшую щетиной физиономию Сэмми Маунтджоя, чьи

припухлые губы размыкаются, дабы рука смогла извлечь чинарик; я говорю не про гладкие влажные мускулы позади затупившихся зубов, и не про пищевод, легкие, сердце – все то, что можно увидеть и потрогать, если поработать над ним скальпелем в анатомичке. Я имею в виду безымянный, бездонный и невидимый мрак, который сидит в самой его сердцевине, вечно бодрствующий, вечно несовпадающий с тем, за что его принимают, вечно размышляющий о непостижимом и чувствующий неизъяснимое – мрак, который безнадежно надеется понять и быть понятым. Наша неприкаянность ничего общего не имеет с одиночеством изгоя или тюремной камеры; это одиночество темной твари, что видит посредством отражения, словно речь идет о наблюдении за атомным реактором, осязает посредством дистанционного управления и слышит лишь те слова, которые передают ей на иностранном языке. Общение – вот наша страсть и источник безысходности.

Ну и с кем общаться?

С тобой?

Мой мрак выпускает клещи-манипуляторы и неуклюже тычет ими в пишущую машинку. Твой мрак выпускает твои собственные клещи и хватает книжку. Между нами насчитывается два десятка режимов обмена, фильтрации и трансляции. Сколь экстравагантным было бы совпадение, если бы точное качество, полупрозрачная сладость ее щеки, живой изгиб кости между бровью и челкой сумели бы выдержать передачу! Как можешь ты разделить со мной весь тот ужас, что я испытывал в темнице, когда я способен его лишь вспомнить, но не воссоздать даже для самого себя? Нет. Это не для тебя. А может, как раз и для тебя, но только отчасти. Раз уж ты там не был.

И вообще, кто ты такой? Один из узкого круга посвященных, с гранками на руках? Я что, твое служебное задание? А я тебя не раздражаю, превращая одну бессвязную галиматью в другую? Может статься, ты наткнулся на эту книжку у какого-то букиниста, лет эдак через полсотни, и ты живешь в другом «сегодня». Свет исчезнувшей звезды сияет нам миллионы лет – по крайней мере, так говорят и, наверное, не врут. Какая именно вселенная подойдет для того, чтобы наша темная сердцевина сохранила в ней свое равновесие?

Однако ж надежда есть. Я мог бы передать хотя бы кусочек, и это, понятное дело, куда лучше полнейшей слепоты и бессловесности; а еще я могу подыскать себе нечто вроде шляпы. Наша ошибка в том, что мы путаем собственную

ограниченность с пределами возможного и запихиваем целую вселенную в ту или иную рациональную шляпу. Но я, пожалуй, смогу отыскать намеки на рисунок, который вместит меня, пусть даже его края и терялись бы в неведении. Что же касается общения, то, как говорится, все понять – значит все простить. Хотя кто, кроме обиженного, способен простить обиду? И к тому же каким образом, если этот телефонный коммутатор не работает?

Вина за кое-какие картинки лежит не на мне. Я вполне способен вспомнить себя ребенком. Но даже соверши я убийство в ту пору, ответственным за него я бы себя уже не считал. Здесь тоже есть некий порог, за которым наши поступки становятся деяниями других. И все же я там был. Чтобы понять, надо, наверное, включить и картинки тех, ранних дней. Может статься, заново перечитав свою повесть с начала и до конца, я увижу связь между маленьким мальчиком, чистым как родниковая вода, и тем мужчиной, который похож на застойный пруд. Каким-то образом из одного получилось другое.

Отца своего я не знал, да и матушка, как мне думается, тоже его никогда не знала. Не могу, конечно, быть полностью уверен, но все ж я склонен полагать, что она его не знала – во всяком случае, в социальном отношении, если только мы не вычленим это слово из всех полезных смыслов. Половина моей родословной до того туманна и непроницаема, что я редко утруждаюсь беспокоиться на этот счет. Я существую. Вот эти пожелтевшие от табака пальцы, что нерешительно зависли над пишущей машинкой, эта тяжесть в кресле удостоверяют мне встречу двух людей, одним из которых была моя мать. Интересно, что думал обо мне второй из них? И что за даты я отмечаю? В 1917-м были победы и поражения, была революция. На фоне таких событий одним мелким ублюдком больше или меньше… А тот-то, другой, был ли он солдатом, которого потом разметало на куски? Или, может, он выжил и ходит, развивается, забывает? А что, он вполне мог бы гордиться мною и моей цветущей репутацией – если б знал. Не исключено, что я с ним даже пересекался, лицом к непроницаемому лицу. Но без узнавания. Я буду знать о нем столь же мало, сколько знает ветер, переворачивающий страницы книги на садовой ограде, невежественный ветер, способный расшифровать цепочки черных заклепок с таким же успехом, с которым мы, люди, умеем читать лица совершеннейших незнакомцев.

И все ж меня завели. Я тикаю. Существую. Я замер в восемнадцати дюймах над черными заклепками, которые ты читаешь; я занимаю твое место, я заперт в

костяной коробке и пытаюсь приклепать самого себя к белой бумаге. Нас соединяют эти заклепки, но, невзирая на всю страстность, мы не разделяем между собой ничего, кроме чувства разобщенности. Так зачем мне думать об отце? Чем он важен?

Зато мать – совсем другое дело. Был у нее какой-то секрет, ведомый, пожалуй, лишь коровам или кошке на ковре, некое качество, делавшее ее независимой от чужих суждений. Она довольствовалась простым контактом. В этом была ее жизнь. Мои успехи ее ничуть не впечатляли. Полное безразличие. В моем альбоме картинок она закончена и окончательна как точка в конце фразы.

В досужую минуту, когда на меня вдруг накатывало, я расспрашивал ее об отце, хотя в этом любопытстве не было крайней нужды. Пожалуй, если бы я настоял, она была бы поточней в своих рассказах, но зачем мне это надо? Жизненного пространства вокруг ее передника вполне хватало. Были мальчишки, знавшие своих отцов, так же как и мальчишки, носившие башмаки изо дня в день. Были сверкающие игрушки, машины, места, где люди ели изящно, да только эти картинки на моей стене столь же от меня далеки, как и Марс. Настоящий отец стал бы немыслимой прибавкой. Так что свои расспросы я приберегал к раннему вечеру, пока не открылось наше «Светило», или же к ночи, когда матушка была уже в приятном подпитии. С таким же равнодушием я мог бы попросить ее рассказать сказку, да и верил в нее не больше.

– Мам, а кем был мой отец?

Из-за нашего обоюдного безразличия к тривиальному физическому факту ответы разнились в зависимости от того, что ей грезилось в данную минуту. На них влияло «Светило» и мерцающие истории в «Ригле». Я-то понимал, что все это чистой воды мечты, а потому принимал их, коль скоро сам предавался фантазиям. Заклеймить их словом «вранье» можно лишь при ледяном отношении к правде, хотя пару раз остатки порядочности все же заставили мать отречься от своих заявлений чуть ли не в следующий миг. В результате отец порой был военным, обаятельным человеком, офицером – хотя, подозреваю я, к моему зачатию она уже не была парой офицеру и джентльмену. Как-то вечером, по возвращении из «Ригла», где крутили кинохронику авианалета на группу линкоров у берегов Америки, она заявила, что отец служил в Королевских ВВС. А еще позднее… что за дата тогда отмечалась? с гарцующими скакунами, плюмажами на кирасах и ревущими толпами? Словом, в тот день он превратился аж в принца Уэльского.

Я до того обалдел от этой новости – хотя, разумеется, ничуточки в нее не поверил, – что у меня на сетчатке надолго остался след от красного сияния за каминной решеткой. Да мы оба в это не поверили, однако сверкающий вымысел валялся посреди грязного пола и был благодарно принят, раз уж сам я не был способен на столь грандиозное изобретение. Правда, едва выпалив слова, мать чуть не взяла их обратно: уж чересчур колоссальной получилась выдумка, а может, мечта была слишком сокровенной, чтобы делить ее с другими. Она отвела глаза, на вспыхнувшем лице зарделась серая, пергаментная кожа. Мать шмыгнула носом, почесала между бровей, уронила пару слезинок, охотно набежавших после джин-тоника, и сказала, обращаясь к камельку, где не помешало бы развести огонь пожарче:

– Ты же знаешь, я записная врунья…

Ага. Знать-то я знал, и даже не корил за это, но все равно огорчился. Такое чувство, что Рождество минуло, и не осталось праздничной мишуры. Стало ясно, что нам следует вернуться к привычному, хоть и вымышленному маминому кавалеру. Принц Уэльский, офицер, летчик… между прочим, шлюхи любят выдавать себя за пасторских дочерей, так что, несмотря на весь куртуазный лоск, церковь вышла победительницей.

– Так кем был мой отец, мам?

– Сколько раз повторяла: священником.

В целом я тоже придерживался этой версии. Между нами не было ничего, кроме разобщенности, но ее все равно следует признать, так что за чужим лицом я видел тоску, дьявола, отчаяние, перекошенные и безысходные образы, которые ежечасно подлаживались под новое убеждение, пока не превращались в таких же уродцев, как и спеленатые ступни китаянок. В горькие минуты я мнил себя опосредованно причастным к добрым делам. Мне нравилось думать, что за отцом не числится проступков, совершенных под каким-то предлогом или по нравственному равнодушию. Из чувства собственного достоинства я бы предпочел, чтобы он отчаянно сражался с плотскими позывами. Военные испокон веков любят и затем бросают женщин, а вот богослужители – и просто воздерживающиеся, и давшие обет безбрачия, – все эти пресвитеры, духовники, церковные старосты и приходские священники… Должно быть, я – застарелая боль, некогда вроде бы прощенная, а ныне вспыхнувшая пурпуром. Вот взорвусь

где-нибудь в пастырском домике, а то и на хозяйственном дворе, лопну как забытый гнойник. Эти люди, как и я, не чужды греху. Да, в этом что-то есть.

Итак, священник. Интересно, какой церкви? Пару дней назад я шел по переулку, мимо всяких там часовен, мимо молельни, свернул за угол возле старого храма и внушительного дома слуги божьего. К какой же конфессии приписать мой вымысел? К государственной, англиканской? А не был ли мой отец сначала джентльменом и лишь впоследствии принял сан? Так сказать, дилетант-любитель вроде меня. Даже монахи ходят в ладно скроенных рясах, из-под которых выглядывают штаны. Смахивают на друидов с Браун-Уилли[2 - Холм в графстве Корнуолл.], или как там называется это место, куда они прикатывают в машинах и темных очках. А может, сделать отца католиком? Вот уж действительно, профессиональная церковь, хотя бы ты и ненавидел ее по самые печенки. Если сын-ублюдок коснется рукава одного из них, то затронет ли при этом сердце? Ну а если взять нонконформистов с их безотрадной ортодоксальностью, всех этих новоиспеченных схизматиков со скрижалями, переносными алтарями, скиниями и капищами – тут мы с матерью заодно: никакого интереса. Да с таким же успехом отец мог быть масоном. Или «сохатым»[3 - То есть членом «Благотворительного и покровительствующего ордена лосей».].

– Мам, кем был мой отец?

Я лгу. Обманываю и себя и вас. Их мир – мой мир, мир греха и искупления, показушности и твердой веры, мир любви в грязной луже. Вы изо дня в день торгуете самой кровью моей жизни. Я один из вас, затравленный человек… Затравленный чем или кем? Вот он, мой глас вопиющий: ходил я среди вас в коконе интеллектуальной свободы, а вы никогда и не пытались прельстить меня сбросить его, ибо век нынешний сам вас совратил, и вы поверили в игру по правилам, в непритворство, в то, что не каждому дано быть святым. Вы уступили свободу тем, кто ею и воспользоваться-то не может, дали самоцвету заплыть коростой из грязи и пыли. Я изъясняюсь на вашем же герметическом наречии, на коем не говорят другие люди. Я ваш брат в обоих смыслах, и коль скоро свобода – мое проклятие, я швыряю в вас мерзостью, расковыриваю болячку, которая никак не прорвется и никого не убьет.

– Мам, кем был мой отец?

Пусть он так и не узнает. Мне и самому ведомо теплое содрогание, а в сравнении с медленным ростом, что идет следом, я не так уж и много размышляю о физическом отцовстве. Дети – не собственность, которой мы владеем. Мой отец был не человеком, а ничтожным червячком вроде головастика, невидимым невооруженному глазу. Ни головы, ни сердца. Такой же целеустремленный и бездушный, как управляемый снаряд.

Никакой профессии у матери не было, как, впрочем, и у меня. Как говорится, яблочко от яблони и т. д. Мы с ней любители по призванию. Ни деловой сметливостью, ни желанием делать карьеру и добиваться успеха она не обладала. Однако и аморальной ее тоже не назовешь, потому что это предполагает наличие некой этической нормы, от которой она могла бы отклониться. Была ли она выше нравственности, ниже ее или стояла как-то сбоку? Сегодня ее приписали бы к умственно неполноценным и организовали ненужную ей опеку. А в ту пору ее называли бы придурковатой – если б только она не облачалась в панцирь непробиваемого равнодушия. Мать ставила небольшие, но жизненно важные для нас суммы на лошадей в «Светиле», выпивала и ходила в кино. Работу брала без разбору, какая попадется. Подменяла поденщиц, собирала – на пару со мной – хмель, стирала, подметала и с грехом пополам натирала полы во всех присутственных местах, что располагались неподалеку от нашего переулка. Интимных связей не поддерживала, раз уж это предполагает асептический половой контакт, безлюбовное, безрадостное облагораживание удовольствия с помощью резинового колпачка из ванной комнаты, который предохраняет от зачатия. Она не предавалась любви, этой страстной попытке подтвердить, что разделяющая двоих стена разрушена. Такими вещами она не занималась. Потому как в противном случае все бы мне выложила заплетающимся языком, бессвязными монологами, подолгу замолкая, коль уж деваться нам было некуда. Нет. Она была просто живым существом. Наслаждалась стопочкой как титькой кормилицы, уйдя в себя, разражаясь смехом или вздыхая. Случайные соития были для нее, пожалуй, тем же, что для настоящего художника его полотна – данность, и не более того. Без подтекста. Встречи на задворках, в полях, на штабелях, у воротных столбов или стен. Как и большинство таких актов в истории человечества, они были приземленными и ничего не выигрывали от психологии, романтики или религии.

Мать была громоздкой. Еще юницей она наверняка обладала пышными формами, но аппетит и ребенок превратили ее поистине в слониху. Судя по всему, некогда она была привлекательна, потому что глаза, утонувшие в буром и одутловатом как плюшка лице, и поныне оставались крупными и кроткими. В них читалось

сияние, которым в молодости она должна была светиться от маковки до пят. Есть женщины, не умеющие отказывать, так вот мать превосходила этих простушек, иначе как объяснить, что она сумела заполнить собой туннель в прошлое? Несколько последних месяцев я все пытался поймать ее двумя пригоршнями глины… да нет же, я имею в виду ее образ, а если точнее, мое ощущение ее громоздкости и неподдельности, ее способности в буквальном смысле застить глаза. За ее спиной нет ничего, ничего. Она – теплый мрак между мной и холодным светом. Она-то и есть конец туннеля.

У меня что-то с головой. Дайте-ка я ухвачу всю картинку, пока ее видно. Мать расплылась, какой я ее и помню; она заполняет комнату и дом, ее непомерное чрево набухает; уверенность во всем и безразличие ко всему поддерживают ее прочней иного трона. Она выше вопросов и сомнений, она и не хорошая и не плохая; не добра и не зла. Маячит в проходе, который я проложил во времени.

Она запугивает, но не страшна.

Она нерадива, но не калечит и не помыкает.

Она груба, но не от злобы или жестокости.

Она – человек зрелый, но без потуг на снисходительное покровительство.

Она тепла без собственнической одержимости.

А самое главное – она на своем месте.

Конечно, вспомнить ее я могу только в глине, в прозаической земле, почве, я не могу набросать глянцевые краски на туго натянутый холст или обрисовать мать словами, что на десять тысяч лет моложе ее тьмы и тепла. Как можно описать эпоху, мир, вселенную? Если уж объяснять, так только те вещи, которые ее окружали, оставив лакуну посредине, где молча пребывает мать. Я выуживаю из памяти лоскут, серый и пожелтевший. С одного угла обтрепавшийся – или как я сейчас думаю, подгнивший – до бахромы, влажной бахромы. Остальное закреплено где-то на матери, и вот я, вцепившись пальцами над головой, семеню следом, порой оступаюсь, а порой меня нетерпеливо одергивает громадная ладонь, без единого слова падающая сверху. Мне вроде бы помнится, как я ищу тот уголок ее фартука и с наслаждением обретаю его вновь.

Должно быть, тогда мы жили в Гнилом переулке, потому как отдельные направления уже были четко размечены, под стать румбам компаса. Нужник был устроен на истертых кирпичах поверх канавы и являл собой длинное деревянное сиденье за дощатой дверью. Над головой кто-то вроде бы обитал, но был ли это всамделишный постоялец? Пожалуй, в ту пору мы были чуточку зажиточней, а может, джин стоил дешевле, как и сигареты. Комод заменял нам платяной шкаф, а в печке было полно маленьких чугунных полок, дверок и разных выдвигаемых штучек. Мать никогда ими не пользовалась и обходилась малой варочной конфоркой посредине, которая накрывалась чугунным кружком. Коврик у нас тоже был, и стул, и небольшой сосновый стол, и одна кровать. Я спал ближе к двери, а когда с другого конца ложилась мать, я съезжал как с горки. Дома на нашей улице были одинаковы, за единственным исключением, и через весь мощенный кирпичом переулок проходила сточная канава. Тот мир был полон детей всевозможных размеров; одни мальчишки на меня наступали, другие угощали сладостями; когда я уползал слишком далеко, девочки подхватывали меня на руки и относили обратно. Грязи, наверное, было по уши. У меня отличное, тренированное цветовое зрение – так вот, эти человеческие лица всплывают в моей памяти не бело-розовыми сполохами, а серо-бурыми пятнами. Лицо матери, ее шея, руки – все, доступное взгляду, тоже было серо-бурым. Передник, который я столь отчетливо различаю внутренним зрением, выглядит сейчас до невозможности грязным. А самого себя я не вижу. Не было зеркала, до которого я мог добраться, а если оно и было, то успело исчезнуть к тому моменту, когда я достиг сознательного возраста. Да и чем матери было любоваться в зеркале? Помню развевающееся стираное белье на проволоке, помню мыльную пену, какие-то бесформенные кляксы на стене – грязь, наверное, – но, как и мать, я нейтральная точка наблюдения, разрыв посредине. Я ползал и кувыркался в узком мирке Гнилого переулка, пустой, как мыльный пузырь, но окруженный радугой красок и лихорадочным биением жизни. Мы, дети, ходили полуголодные и полуодетые. Первый день в школе я провел босиком. Мы были шумными, визгливыми, плаксивыми зверенышами. И все же то время мне помнится в сияющем блеске и теплоте рождественского праздника. Я ничего не имею против грязи. Фаянс и хром, лосьоны, дезодоранты, весь комплекс чистоплотности – сиречь, мыла в широком смысле, – вся эта гигиена для меня непостижима и, как я считаю, не свойственна человеку. Перед лицом Вселенной, этого бесплатного дара, человек есть величина постоянная. В каком-то смысле мы, выйдя из нашей крохотной трущобы и отмывшись, вместе с грязью утратили счастье и уверенность в жизни.

От той трущобы во мне остались картинки двух сортов. На более ранних я все вижу изнутри дома, потому как помню время, когда иного мира для меня не существовало. Кирпичная мостовая с канавой между шеренгами домишек, вереница дворов с отхожими местами в каждом. С одного края, слева от нас, торчали деревянные ворота; на другом конце имелся проход на непосещаемую улицу. В том конце стояло старое, замысловатое здание, чья задняя дверь выходила на переулок: паб «Светило». Вот где помещалось средоточие взрослой жизни; здесь крайний дом в шеренге перекинулся аркой над проходом и соединялся с пабом, обретя тем самым возвышенное и выгодное положение. Когда я в достаточной мере повзрослел, чтобы обращать внимание на такие вещи, то вместе с остальными обитателями нашего переулка стал поглядывать вверх, на добрую леди, что занимала там две комнаты. Она была накрепко сцементирована с пабом, обслуживала народец почище и держала занавески на окнах. Пустись я в более подробное изложение нашей географии, дабы представить общую картину, я погрешил бы против собственной памяти, коль скоро весь мой первый мир был просто переулком с деревянными воротами на одном конце и прямоугольным, но запретным выходом на главную дорогу. Дождь и солнечный свет лились на нас между развевающихся или вяло обвисших рубашек. Были шесты с планками и массой простейших приспособлений для развешивания стираного белья повыше, там, где гуляет ветер. Были кошки и, как мне кажется, толпы народу. Помню нашу соседку, миссис Донован, женщину увядшую и высохшую, особенно на фоне моей матери. Помню крикливость их голосов, привычный надрыв глоток и набыченные головы, когда леди ссорились. Помню конец одной такой перепалки: обе мадам медленно, бочком расходились в стороны, что в данном случае означало обоюдно проигрышную ситуацию, и обменивались односложными восклицаниями, полными неясной угрозы, негодования и презрения.

– Ну!

– Ага!

– Да!

– А-а!..

Это запало в память, потому что по непонятной причине мать не выиграла поединок с ходу: ведь обычно так оно и было. Сморщенная миссис Донован со своими тремя дочерями и кучей бед во всех смыслах уступала матери в весе.

Был один случай, когда мать одержала победу поистине апокалиптических пропорций. Ее голос словно отражался от небес медно-трубным ревом. Эта сцена достойна воспроизведения.

Итак, напротив каждого домишки, что выходили на мостовую со сточной канавой, располагалось по квадратной выгородке, обнесенной кирпичными заборчиками высотой фута три. Слева от входного проема имелось по водоразборной колонке, а за ней, то есть с обратной стороны кирпичей, стояла будка, закрывавшаяся дощатой дверью с зарешеченным окошечком. Если поднять деревянную задвижку и открыть дверь, то ты оказывался напротив деревянного ящика шириной во всю заднюю стенку и с круглой, выщербленной по краям дыркой посредине. На ящике обычно валялся клочок газеты; порой на влажном полу можно было найти и целый скомканный лист. От будки к будке тянулся ручей с темной, вяло текущей жижей. Закрыв дверь и опустив задвижку (для чего требовалось дернуть за бечевку, болтавшуюся изнутри), ты уже мог наслаждаться уединением, доступным даже в Гнилом переулке. Если ты через решетку замечал, что кто-то из домашних подошел к выгородке и протягивает руку к задвижке, то полагалось – не шевелясь и без упоминания имен или стереотипных выражений – выкрикнуть нечто нечленораздельное, и тогда рука отдергивалась. Потому что и у нас были свои нормы общежития. Мы продвинулись вперед со времен Эдема, но при условии, что претендент на место в нужнике пришел из твоего дома. Если же, напротив, в твой сортир рвался ошивающийся на улице бездельник, ты имел право разразиться самыми смачными словечками в раблезианском духе, предложить новые сочетания из непростых реалий нашей жизни и включить в них этого чужака, пока изо всех дверей не раздавался гогот, которому вторила приплясывающая у канавы мелюзга.

Встречались, впрочем, и исключения. В двадцатые до нас добрался прогресс и ко всему прочему добавил модерновый предрассудок, так что мы твердо уверовали в смывные унитазы. Временами Гнилой переулок страдал не только насморком.

Думаю, та история приключилась апрельским деньком. Какой другой месяц способен был подарить мне столько голубого и белого, столько солнца и ветра? Белье на веревках вытянулось плашмя и дрожало, торопливо неслись резко очерченные, драные облака, мыльная пена в канаве брызгалась солнцем, сияли истертые, омытые дождем кирпичи. Дул ветер – из тех, что приносят взрослым мигрень, а детям – лихорадочное возбуждение. День воплей и борцовских поединков, день пламенеющий и невыносимый без драм и приключений. Воздух

набряк ожиданием.

Я играл со спичечным коробком в канаве. Я был таким крохой, что предпочитал сидеть на корточках, но ветер – буйный даже в переулке – все норовил пихнуть меня в бок, так что добрую половину времени мне приходилось сидеть в мыльной воде. Сточная решетка забилась, кирпичи скрылись под лужей, из которой получился удобный океан. Увы, моя замечательная, апокалиптическая память сохранила лишь одиночный кадр, а не протяженную киноленту. Мэгги, дочка миссис Донован, пахнувшая так сладко и щеголявшая округлыми, шелковистыми коленками, резко отдернулась от входа в наш кирпичный квадрат. Отступила она до того быстро и размашисто, что каблуком угодила в мой океан. Память запечатлела ее в тот момент, когда она отворачивалась, вскинув руки в защитном жесте. Лица не помню, потому как ее зачарованный взгляд был обращен в другую сторону. Бедняжка миссис Донован, милое сморщенное создание, выглядывает из своего нужника с выражением несправедливо застигнутой жертвы, готовой все объяснить, дали бы время, хотя сама знает, что в этот момент истины ей не достанется и секунды. А из нашего отхожего места, нашего родного, частнособственнического сортира, наделенного теплым и персональным сиденьем, выбирается моя мать.

Вернее сказать, вылетает, потому как дверь шваркнула о кирпичную стену с такой силой, что слетела задвижка. Мать взирает на Мэгги в хитрой позе: лицо развернуто к плечу, одна ступня перед другой (раз уж выкарабкиваться из узкой будки она способна только боком), ноги напружены, спина сгорблена; словом, облик грозный до жути. Юбки поддернуты и комом сбились у талии, в своих багровых лапах мать сжимает широченные серые подштанники, застрявшие в районе колен. Я вижу ее голос: иззубренный и бронзово-алый, он впивается в воздух и зависает под небесами, покоряя и ужасая – воистину героическое деяние.

– Ах ты драная кошелка! Тащи свой триппер к своим ублюдкам!

Нет, не припомню я иной столь же грандиозной сцены в нашем Гнилом переулке. Даже когда два жирафоподобных фараона сцапали близнецов Фреда и Джо, которые ловко промышляли железным ломом на том конце у деревянных ворот, драма выродилась в полное поражение. У всех на глазах один констебль неспешно направился в глубь переулка, и народ принялся бормотать: «А че это он?». Потом Джо с Фредом выскочили из своего дома и почесали к воротам, но, понятное дело, там их поджидал второй полицейский. Вот в него-то они и

угодили: парочка мелких мужичков, по одному в каждую руку. К поджидавшему полицейскому фургону их провели по всему переулку, в браслетах, меж двух темно-синих столпов, увенчанных серебряными шипами. Мы ворчали, орали, издавали рулады, которые, выражаясь деликатно, напоминали треск рвущейся материи и в Гнилом переулке заменяли освистывание. Фред и Джо выглядели бледно, но с гонором. Фараоны приходили, забирали, уходили; неотвратимые как рождение и смерть: три ситуации, в которых Гнилой переулок соглашался на безоговорочную капитуляцию. Появлялся ли на свет лишний рот, «черный ворон» или длинные похоронные дроги, означавшие конец пути, разницы не было. В переулок залезало нечто вроде руки, заграбастывало что ей вздумается, и никто не мог ее остановить.

Мы были мирком внутри мира, а я стал мужчиной, еще не успев достичь интеллектуальной революции в мышлении, позволявшей осознать, что обитаем-то мы в трущобах. И пусть весь наш переулок был ярдов сорок длиной, а кругом зеленели поля, мы были трущобой. При этом слове большинство людей воображает себе многомильное месиво из грязи и дерьма лондонского Ист-Энда или наскоро сколоченные халупы и жердяные пристройки Черной страны[4 - Бывший центр тяжелой промышленности Англии (каменный уголь, руда, черная металлургия) к северо-западу от Бирмингема.]. Но мы ведь жили в самом сердце сада английского, светившегося изумрудным хмелем. Хотя по одну руку тянулись кирпичные особняки, школы, пакгаузы, лавки и церкви, по другую сторону раскинулись пряные долины, куда я шел за матерью собирать липкие, чешуйчатые хмелевые шишечки. Впрочем, эта картинка вырывает меня из нашего дома, а хотелось бы пока побыть в нем. Верну-ка я назад почтовые открытки с пляшущими, озаренными пламенем человечками, и заползу обратно под крышку. Впрочем, там и впрямь были костры, реки пива, песни, цыгане и забегаловка, тайком устроенная в куще деревьев и носившая тростниковую кровлю под стать соломенному канотье, надвинутому на глаза. Возвращаться же приходилось в трущобы. У нас тоже была забегаловка. Жили одной кучей. А нынче я очутился средь стылого мира, вдали от жгучего стыда перед лицом небес, и с изумлением вижу, что немало людей готовы пойти невесть на что, лишь бы сбиться в кучу. Может статься, в ту пору я не заблуждался, и у нас действительно имелось что-то стоящее. Мы были постулатом о человеке, образом жизни, данностью.

Средоточием нашей жизни был паб. Облупленная коричневая дверь с двумя окошками матового стекла почти не закрывалась. Круглая, неровно истертая латунная ручка сияла от постоянных прикосновений. Имелись, надо думать, всяческие правила и время суток, когда торговать спиртным запрещалось, но я

их что-то не припомню. Дверь я видел чуть ли не с уровня тротуара, и она до сих пор мне кажется великанской. Внутри был устроен кирпичный пол, стояли скамьи с высокими спинками, а в углу, возле стойки, – два табурета. Уютное местечко, теплое, шумливое, загадочное пристанище взрослых. Позднее я заглядывал туда, когда срочно требовалось найти мать, и никто и никогда не говорил мне, что мое присутствие возбраняется. А впервые туда я попал из-за нашего постояльца.

Жил он прямо у нас над головой, пользовался нашей печкой, колонкой и нужником. Сдается мне, что он был той самой трагедией, про которую социологи и экономисты настрочили так много книг в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Воссоздать его в уме не так уж и сложно. Начнем с того, что при разглядывании с высоты моего тогдашнего роста – от горшка два вершка – он выглядел коротышкой. Эдакий окурок из ремесленника, потому как был он опрятненький и в каком-то смысле с достоинством. Водопроводчик? Плотник? Но при этом очень старый, его даже было трудно вообразить как-то иначе. Скелетик, который не разваливался только оттого, что был обтянут кожей и синим лоснящимся костюмом из саржи. Носил коричневый шарф, чьи концы подтыкал под пиджачные борта… а вот башмаков я не помню – наверное, потому, что вечно глазел на него снизу вверх. У него были интересные руки: все в узлах, венах и бурых пятнах старческой пигментации. Он никогда не снимал мягкую фетровую шляпу – даже когда сидел у окна наверху, семенил по тротуару, крался в уборную или просиживал у стойки в «Светиле». А усы его были и вовсе примечательными: они смотрели вниз, а своей белизной и мягкостью напоминали лебяжий пух. Усы закрывали ему весь рот – словом, красота да и только. Но еще удивительнее была его манера дышать, шумно и по-птичьи быстро: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, без остановки, тик-тик-тик, хрупкие часики, вечно куда-то спешащие, боящиеся упустить время, потратить его на нечто иное. Над усами и под нависшими бровями его востроносого лица таращились глазки, озабоченные и испуганные. Мне всегда казалось, что он видит что-то недоступное другим, нечто крайне захватывающее и тревожащее. Тик-тик-тик, с утра до вечера, круглыми сутками. Народ не обращал внимания. Меня это не беспокоило, мать тоже, да и был он нашим постояльцем, держащимся за окурок собственной жизни. Укладываясь на ночь и вставая утром, я через дощатый сосновый потолок слышал, как он там тикает. На вопросы он отвечал словно спринтер, только что отмахавший милю за четыре минуты; он отдувался и отфыркивался, панически заглатывая воздух, будто в третий раз подряд выныривал, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Как-то раз, когда он сидел и смотрел сквозь печку, я подкатил к нему с вопросом. Любопытство заело. Он мне и выдал свой одышливый, наработанный ответ –

едва не поперхнувшись словами, поспешно ловя ртом воздух, как иной человек подхватывает оброненную чашку в дюйме от пола.

– У меня… фр-р, уф-ф, тик-тик-тик… в груди… тик-тик-тик… бородавка. – «Фр-ф», «уф-ф» и очередной, отчаянный рывок за воздухом к концу фразы.

В жизни не видел, как он ест; хотя, если призадуматься, он наверняка чем-то питался. Но как? На это не было времени. Сколько суток должно пройти, чтобы организм выработал весь жир и все мясо, полный запас топлива? И как долго душа сможет саму себя поддерживать за шнурки, сосредоточившись лишь в глазах? Тик-тик-тик, и хотя он заглядывал в «Светило» как и все прочие, он не мог много пить, и вот почему обвислая поросль, закрывавшая ему рот, так походила на лебяжий пух. Сдается мне сейчас, что у нашего постояльца был рак; с кислой усмешкой замечаю за собой желание тут же встроить эту скороспелую конъектуру в некую упорядоченную схему вещей. Впрочем, на ум приходит, что все схемы раз за разом разваливались, что жизнь случайна и что зло ненаказуемо. Отчего должен я связывать того мужчину, того ребенка с вот этой нынешней головой, сердцем и руками? При желании я мог бы вызвать в памяти формальное преступление тогдашнего периода, потому что я как-то раз стибрил двухпенсовик у этого старика, купил лакрицы, к которой до сих пор питаю слабость, – и не воздалось мне ничегошеньки. Но то были дни ужасающей и безответственной невинности. Видно, тянет меня на литературщину, коли я слепил свой рассказ, дабы показать, как на мертвые глаза моего духовного зрения легли эти два пенса, раз уж я от них избавился. А зачем тогда я пишу? До сих пор надеюсь на схему? Чего я ищу?

Наша кровать на первом этаже помещалась рядом с комодом – только протяни руку, – и на краю стоял будильник: древний, круглый, на трех куцых ножках, с чашечкой звонка, смахивавшей на зонтик. Он разбивал материн сон, когда ей было нужно засветло отправляться на поденку; мои сонные уши ставили галочку и спали дальше. Если ночь выпадала долгая и глухая, мать сама не обращала на звон внимания или со стоном накрывалась с головой. Тогда часы будили меня. Всю ночь они тик-такали, сдерживая подспудное, упрятанное внутрь безумие – а потом взрывались напруженностью. Зонтик превращался в голову, будильник принимался отчаянно колотить по собственному черепу, трясясь и подскакивая на всех трех ножках, пока сам комод не начинал сочувственно дребезжать в унисон этой припадочной истерике. Вот тогда я тормошил мать и ощущал себя деловитым и благонравным, пока она вздымалась из мрака словно левиафан. Однако если я вдруг просыпался среди ночи или же не мог заснуть, тик-таканье

часов всегда было на месте, хотя и разнилось под стать моему настроению. Иногда – вернее, чаще всего – оно было дружелюбным и безмятежным, но когда на меня накатывали редкие кошмары, от них страдал и будильник. Время тогда теряло жалость, все гнало и гнало неумолимо к точке беснования и взрыва.

Однажды около полуночи я проснулся как от толчка, застигнутый опасностью и беззащитный: часы остановились. Мне стало страшно; пришлось искать мать. Я испытывал тот же позыв, что ощущаю и сейчас, перед этим листком бумаги, позыв неосознанный и глубинный. Я выпал из кровати и с плачем пополз на улицу, вдоль и поперек сточной канавы, к задней двери паба. За остекленными филенками ни огонька. Пивная ослепла. Я поцарапался в дверь, дотянулся до латунной ручки и, повиснув на ней, навалился на дверь.

– Мам! Мам!

Латунь в руке провернулась, я как на качелях влетел внутрь. Приземлился на корточки, и там были люди-тени, воззрившиеся на меня сверху вниз, тени, слегка ворочавшиеся в тусклом свете очага. Мать сидела лицом к двери, занимая почти всю скамью, и стеклянная стопка была погребена в ее ладони. Зал протяженный как день. Сейчас-то я знаю, что там сидело с горстку соседей, выпивавших после закрытия, но тогда они показались квинтэссенцией таинства взрослой жизни, вписанной в одну смутную картину.

– Мам, часы остановились!

Я не сумел передать невозможность моего неприкаянного возвращения в немую темноту; я всецело зависел от их понимания и доброй воли. Они высились башнями и что-то бормотали. Словом, компания распалась без особого удовольствия, но все же шумно, так что пару-тройку минут переулок еще дрожал от эха бодрящих голосов. Мать шиканьем погнала меня через канаву и включила нашу голую лампочку. Взяла будильник в одну руку – он утонул в ее ладони почти столь же охотно, как и стеклянная стопка, – и подержала возле уха. Затем грохнула часами о комод и обернулась ко мне с занесенной карающей десницей.

И замерла.

Медленно возвела очи горе, на потолок, где в нескольких футах над моей головой лежал наш постоялец, и стала слушать; слушать в такой тишине, что сейчас я понял свою непостижимую ошибку, ибо теперь-то до меня отчетливо доносилось тик-таканье будильника, спешащего к истерическому припадку – хрупкий торопыжка, до банальности назойливый, тик-тик-тик…

Был ли у нашего постояльца страховой полис на похороны? Помнится, забирать его приехала солидная машина, вот и получается, что его мертвое тело значило для Гнилого переулка больше, чем живое. У нас на смерть смотрели как на ритуал и зрелище, как на время скорби и радости. Отчего же я так и не увидел его тела? Обманул меня наш переулок, или же здесь была какая-то тайна? Как правило, мертвецы пользовались большим пиететом, нежели новорожденные. Их обмывали, распрямляли, приводили в порядок; им отдавали почести как спеленатым и нафаршированным специями фараонам. О смерти в Гнилом переулке не получается думать без эпитета «царственная». В ретроспективе, которая развешивает события согласно их символическим цветам, Гнилой переулок предстает по случаю смерти обряженным в черное, фиолетовое и багряное; он разбухает от предвкушения выпивки и скорби.

Но отчего же я так и не увидел ничьего мертвого тела? Уж не оттого ли, что взрослым людям-теням из уютной пивной была ведома некая теория о моем кошмарном знании? Что, я слишком много знал? У меня имелась особая причина считать себя обманутым. Мне сказали, что у него под шляпой был пух той же лебяжьей белизны; в моем воображении это превратилось в драгоценную вещь, изысканную как шапочка, достойная увенчивать голову Девы-Лебедь. А про лебяжий пух под шляпой я узнал от Иви. Она-то видела тело в ящике. И даже его потрогала – потому что мать заставила. У нас считалось, что после этого ребенок уже никогда не будет пугаться мертвецов. Вот Иви его и потрогала, ткнув правым указательным пальцем ему в нос. «Вот этим пальцем», – показала она. Я пригляделся, пришел в благоговейный трепет и преисполнился восхищением перед Иви. Но сам так никогда его не увидел и не потрогал. Смерть прокатила мимо в высокой черной машине с морозно-узорчатыми стеклами. В тот день, как и всегда, я стоял на тротуаре, в сторонке, понимая далеко не все из происходящего. Зато Иви постоянно находилась в сердце событий. Она была на год-два постарше и вовсю мной помыкала. Разве мог я ревновать к Иви, которая знала так много? И пусть он был нашим собственным постояльцем, и пользовался нашим нужником, а вовсе не сортиром Ивиной матери, я не мог злиться на нее за прикосновение к востроносой смерти. Иви

тоже была царственна. К тому же имела на это право. Я же имел право считать себя неполноценным, и так и поступал – потому как мне не достался белый пух, а лишь морозно-узорчатое стекло, медленно катившее по переулку. Желая узнать касание смерти, я вообразил, будто сам бросаю вызов самому жуткому и омерзительному одиночеству. Увы, было слишком поздно. Если нагнуться до коленок, то это время само возникнет перед глазами. Дверной порог вырастет до размеров алтаря, я смогу облокотиться на вывеску, что стоит в витрине лавки, а вот сточную канаву придется преодолевать могучим прыжком с разбега. И тогда прозрачность, имя которой «я», поплывет сквозь жизнь подобно мыльному пузырю, пустотелому, лишенному чувства вины и всего прочего, кроме рефлекторных и неосознанных чувств; щедрый, алчный, жестокий, невинный пузырь. Мать и Иви были моими привратными башнями-близнецами. А жизнь выткалась так, что я оказался недостоин пуховой шевелюры нашего постояльца, этой печати лебяжьей белизны конечного знания.

Да и была ли у него эта шевелюра? Раздумывая над пустым пузырем с высоты коленок, я впервые вижу, что просто поверил Иви на слово. А ведь она была вруньей. Или нет? Фантазеркой она была, вот что. Ростом выше меня, смуглая и тощая, гладковолосая шатенка с короткой круглой стрижкой. Носила коричневые рейтузы, которые морщинились гармошкой под коленями. У нее была куча широченных и ярких лент для волос; я ими восторгался и с безнадежным идиотизмом вожделел. Какой толк от ленточек и бантов, если их не на что повязать? И какой толк от этого символа без королевского достоинства и властности матери и Иви? Когда она, потряхивая головой, принималась разглагольствовать о мире и о том, какими должны быть люди, ее розовый бант колыхался вместе со свешивающимися набок волосами, полный величия и недоступный.

Все же я пребывал в ее руках и был этим доволен. Потому что теперь я был приготовишкой, а ей полагалось меня сопровождать в школу. По утрам я первым выбегал к канаве и ждал, пока она не покажется из своей двери. Она появлялась – и мир заполнялся солнечным светом. Она звала, и я мчался в ее коллекцию. Она умывала меня под водоразборной колонкой, брала за руку и, не умолкая ни на миг, вела мимо «Светила», мимо окна дамы с кожистым зеленым растеньицем, а оттуда на улицу. До школы надо было добираться ярдов триста или чуть больше по прямой, свернуть за угол, пересечь главную улицу и пройти еще по тротуару. Мы то и дело останавливались, глазея на все подряд; объяснения Иви были куда интереснее школы. Ярче всего мне запомнилась лавка древностей. На скошенном подоконнике витрины, чуть ли не вровень с моим носом, шла надпись громадными золотыми буквами, надо полагать,

название фирмы. В памяти осталась только одна позолоченная «W». Верно, потому, что я как раз добрался до этой буквы в букваре.

В той лавке имелись любопытные вычурные подсвечники. Стояли они на золоченом столике, и каждый увенчивался коническим колпачком, как наш будильник – зонтиком. Иви пояснила, что колпачок надо перевернуть, налить в него топленого воску, и тогда он будет гореть вечно. Это она видела в доме своей кузины в Америке – даже не в доме, а во дворце. Всю дорогу к школе она разливалась соловьем про этот дом, так что когда меня усадили за лист бумаги и дали цветных карандашей, я нарисовал ее дом – то есть дом ее кузины, с громадным низом, колоссальным верхом и колпачками, где пылало золотое пламя.

В ворохе всяческой мелочи на витрине отыскалась ложечка с черенком длиннее обычного. Иви рассказала, что одному дяденьке из этой ложечки дали отраву – по ошибке, думали, лекарство. Ложечку он тут же прикусил и давай метаться на кровати. Тут-то они и поняли, что влили в него яду, а не монастырского бальзаму, но было уже поздно. Тащат они эту ложечку, тащат у него изо рта, а все без толку. Тогда трое навалились сверху, еще трое ка-ак взялись тянуть, а черенок только удлиняется да удлиняется… и тут Иви припустила по тротуару, коленки ширк-ширк друг о друга, каблуки в стороны; она дергалась, хихикала и сама пугалась своей выдумки, а я несся за ней вслед, выкрикивая: «Иви! Иви!».

В сумрачной глубине магазинчика высились рыцарские латы, полный набор. Иви уверяла, что внутри стоит ее дядя. Вздор, конечно. Доспехи просматривались насквозь по неплотным стыкам. Но я никогда сомневался насчет дяди, ибо вера моя была безупречна. Просто решил, что он – необычное создание, весь в дырках, видать, оттого, что дядя был герцогом. Иви объяснила, что он стоит там, поджидая, когда можно будет ее вызволить. А все потому, что ее выкрали те самые люди, с которыми она сейчас живет, а в действительности она самая что ни на есть принцесса, так что в один прекрасный день он выйдет наружу и увезет ее в своем экипаже с морозно-узорчатыми стеклами… Я сразу понял, что это за машина. Все будут ликовать, уверяла Иви, но я-то знал, что буду стоять в сторонке на тротуаре, а бант Иви исчезнет точно так же, как исчезла белая шевелюра из лебяжьего пуха.

Должно быть, Иви следила за моими вскинутыми, доверчивыми глазами: не мелькнет ли в них искра сомнения, потому что вскоре ее рассказы обрели собственные крылья. Теперь я знал, что удостоился чести видеть распростертую

предо мной душу, оказался посвящен в один из местных секретов Полишинеля. Но моя невинная доверчивость была условием, на котором зиждились эти откровения, так что я ничего из них не извлек. Иногда, призналась мне Иви, она становилась мальчишкой. Это она сообщила, взяв с меня клятву молчания, которую я теперь впервые нарушаю. Превращение, сказала она, происходит внезапно, оно болезненное и полное. Без малейшего предупреждения – раз! и готово, – после чего Иви ничего не оставалось делать, кроме как справлять малую нужду стоя – да-да, объясняла она, хочешь не хочешь, а деваться некуда. Приходилось облегчаться точно так, как это делал я. Мало того, после превращения она могла пускать струю выше, чем любой другой мальчишка в нашем переулке, понимаешь, да? Это-то я понимал и трепетал от потрясения. Мысль о том, что Иви отказывается от царственности и красоты своей юбки и натягивает заурядные штаны, стрижет накоротко гладкие волосы, забывает про банты… Ох! Я страстно взмолился: «Не надо, не надо превращаться в мальчишку!». «Так а что ж я могу поделать?» – рассудительно отвечала она. Тогда я с робостью ухватился за единственное утешение: «А можно мне самому превратиться в девочку, носить юбки и ленточку в волосах?». Ну уж нет, сказала она. Такие вещи происходят только с ней. Вновь я оказался в сторонке.

Я обожал Иви. Был убит горем и ужасом. Она же пестовала и лелеяла этот мой ужас как дань реальному положению дел. Когда это случится в следующий раз, пообещала она, я тебе покажу. Но это означало, что она сгинет из моей жизни, потому что я понимал, что никакой мальчишка уже не возьмет меня за руку, чтобы отвести в школу. Разве сумел бы я в целости и сохранности пройти мимо ее дяди и длинной ложки? Я умолял ее не превращаться – зная при этом, что мы бессильны перед лицом столь жуткой вещи, хотя и сохранил веру в то, что уж Иви-то сумеет управиться с нашим миром, даже если это не по зубам всем прочим людям. Я ревниво следил за проявлением симптомов. Если она уходила с игровой площадки в девчачью уборную, я стоял и терзался сомнениями: а что, если она отправилась проверить, как там у нее? Я вертелся под ногами, досаждал и, наконец, ей осточертел. Каким-то неясным мне образом она сама отдалилась. Вот и пришлось мне ходить в школу без присмотра, пересекать улицу, чтобы держаться подальше от дяди и ложечки, нырять в ворота иного мира.

Это был мой первый разрыв с Гнилым переулком, потому что Ивины рассказы связывали его со школой, хотя сам я не ощутил никакого перехода. Однако сейчас Гнилой переулок угодил в географический контекст и перестал был моей ойкуменой. И все же, когда я в научно-популярных журналах натыкаюсь на план раскопок чьих-то жилищ и читаю сухой реферат о гипотетической,

реконструированной жизни, я задаюсь вопросом: а как будет выглядеть Гнилой переулок под лопатой археолога лет эдак через две тысячи после того, как в него угодила «Фау-2»? Фундаменты расскажут о планировке зданий и распорядке местной жизни. Они наврут нахальнее, чем Иви, хотя и скучнее. Ибо Гнилой переулок рычал и согревал, был незамысловатым и сложным, неповторимым и до странности счастливым мирком в себе. Он подарил мне две родственные и добрые души, за что я до сих пор ему благодарен: за мать, стоящую на пути мрака прошлого, и за Иви, за трепет от знакомства с ней и мое доверие к этой девочке. Мать по всем статьям была чуть ли не потаскухой, а Иви – прирожденной лгуньей. Ну и пусть; мне хватало лишь того, что они рядом. Я настолько живо помню наши отношения, что меня тянет родить афоризм: возлюбите без корысти, и да минут вас скорби. И тут в памяти всплывает, что случилось дальше.

Итак, я выбрался из-под Ивиной тени и стал обитателем двух сочлененных миров. Нравились оба. Подготовительный класс, где учительницы склонялись над нами как деревца, был местом для игр и открытий. Появились новые занятия, обнаружился высокий звонкий ящик, из которого одно из деревцев извлекало чарующую музыку. Под конец молитв, пока мы еще стояли шеренгами, музыка менялась, превращалась в марши. Нынче, заслышав уличный духовой оркестр, я нарочно сбиваю ногу, отвергая постыдность столь примитивной реакции, но в те дни я печатал шаг и надувал грудь. Я умел шагать в ногу.

Минни не умела ходить строем, да этого никто от нее и не требовал. Грузноватая была девочка. Ее конечности торчали по углам квадратного туловища, а крупное и довольно старческое личико вечно клонилось к плечу. Ходила она, нескладно выбрасывая руки и ноги. Сидели мы с ней на одной парте, и вот почему я обращал на нее внимание больше других. Если Минни хотелось взять цветной карандашик, это у нее получалось где-то с третьей попытки: пока одна рука тянулась к нему как-то сбоку, вторая взлетала в воздух как бы из сочувствия. Добравшись до цели, Минни резкими, судорожными движениями скребла по столу, пока карандаш не попадал ей в ладонь. Временами заточенный грифель оказывался сверху, и тогда Минни начинала корябать по бумаге тупым кончиком. Как правило, в такие минуты над нами нависало деревце и переворачивало карандаш, а однажды все карандаши, лежавшие с ее стороны парты, оказались заточенными с обоих концов, так что жизнь упростилась. Не могу сказать, нравилась мне Минни или нет. Она была явлением, которое полагалось принимать как и все прочее. Даже ее немногословная и косноязычная речь казалась естественной: да, Минни так

разговаривает, и точка. Жизнь просто явила свою перманентность и неизбежность в данной конкретной форме, не более того. Развешанные по стенам картинки со зверушками и людьми в странной одежде, глина для лепки, деревянные счеты, книжки, банка на подоконнике с веткой липких каштановых почек – все это вкупе с Джонни Спрэггом, Филипом Арнольдом, Минни и Мейвис составляло неизменную данность.

Пришло время, когда мы почувствовали, что деревца раскачиваются под сильным ветром. Намечалась некая инспекция, и деревца прошелестели новость: дескать, грядет к нам дерево повыше, чтобы выяснить, счастливы ли мы, хорошо ли себя ведем и учимся. В школе вывернули наизнанку все шкафчики, пришпилили особенно удачные рисунки. Мои красовались на самом видном месте, и это, пожалуй, одна из причин, почему я столь живо помню то событие.

Как-то утром на молитве появилась незнакомая дама, а мы к тому дню уже успели дойти до известной взвинченности. Мы прочитали молитвы, довольно дрожащими голосками пропели псалом и принялись ждать маршевую музыку, под которую полагалось идти в класс. Однако порядок вещей переменился. Покамест мы стояли в шеренгах, незнакомая дама вышла вперед и, пригнувшись, начала по очереди спрашивать наши имена. Держалась она ласково и шутила, на что деревца отзывались смехом. Наконец, она добралась до Минни, а та была уже донельзя красной.

Дама наклонилась к Минни и спросила имя.

Нет ответа.

Одно из деревцев поспешило на помощь:

– Меня зовут М-м?..

Ласковая дама поняла. И тоже взялась помогать:

– Мэгги? Марджори? Миллисент?

Сама идея, что Минни могут звать как-то иначе, показалась такой глупостью, что мы захихикали.

– Мэй? Мэри?

– Маргарет? Мейбл?

Минни уделала пол и башмачки ласковой дамы. Она заревела белугой и напустила такую лужу, что ласковой даме пришлось отскочить в сторону. Забренчал звонкий ящик, мы сделали «напра-ВО! на месте шагом – МАРШ!» и гуськом потянулись в класс. Но уже без Минни. И на какое-то время остались без деревьев. Сколько ж было впечатлений и восторгов! Еще бы: наш первый скандал. Минни раскрыла свою суть. Все те странности, что мы принимали как должное и само собой разумеющееся, слились воедино, и теперь мы знали: она – чужак. Это нас тут же облагородило и возвысило. Минни – животное у нас в ногах, а мы занимаем высшую ступень. Позднее тем же утром одно из деревьев увело Минни домой, а мы стояли и глядели, как они идут сквозь ворота рука в руке. Больше мы ее не видели.

2

Генерал покинул свой особняк у дороги. Сторожка до сих пор на месте, вылезает на широкий тротуар из высокой ограды, окружающей акры кустарников и садов. Дом отошел в руки службы здравоохранения, и я не могу претендовать на изрядный общественный престиж тем, что живу практически по соседству. Трущобы уже не те, что раньше; а может, нынче их вовсе нет. От Гнилого переулка остались лишь пыльные контуры фундаментов среди битого кирпича и мусора. Люди, обитавшие в нем и в других подобных муравейниках, сейчас живут в новом благоустроенном поселке, что взбирается по противоположному склону долины. У них есть деньги, машины, телики. Да, некоторые до сих пор спят вчетвером в одной комнате, но зато на чистом постельном белье. Там, где сохранились дряхлые, грязные домишки – что в городе, что на окраине, – стропила выкрашены красным или синим. Кондитерская с двумя витринами бутылочного стекла сделана желтой и оттенена колером под цвет утиного яйца. Сейчас в ней все устроено, как полагается, а живущая там мечтательная пара выкидывает горшки в сарай. Город не стоит на голове, потому что ее больше

нет. Мы превратились в амебу, готовую – а может, и не готовую – эволюционировать. Даже аэродром, что лежит на соседнем холме, нынче смолк. Земля пропахана на три дюйма и засеяна пшеницей, порой достигающей аж фута в высоту, как раз на программу госдотаций. Зимние дожди смывают плодородный слой с меловой подстилки, и тогда холм напоминает белесый череп с облезлой кожей. Меня одного тошнит, или мы все изнываем?

Некогда аэродром был меккой для детворы. Мы с Джонни Спрэггом залезали на край летного поля по откосу; из-за крутизны склона это можно было сделать только боком, цепляясь руками, чтобы перевести дух. Наверху имелась заросшая травой канава, часть одного из реликтов, что приглаженной вязью покрывают меловые холмы по всему побережью. Вдоль дальнего края тянулась проволочная ограда, и там мы лежали бок о бок среди скабиозы, желтого первоцвета и пурпурного чертополоха, разглядывали всяческую ползучую и крылатую мелочь в высокой траве и ждали, пока над нами не прогудит самолет. По этой части Джонни был докой. Он обладал способностью, присущей многим мальчишкам – кроме меня – порами кожи впитывать сложнейшие технические знания. Нет, у него не было доступа к подходящим публикациям, однако он умел определить любой самолет в поле зрения. Чуть ли не сам научился летать, еще не успев толком освоить чтение. Он понимал, как самолеты висят в воздухе, чутьем и любовью ухватывал концепции сбалансированных, невидимых сил, которые держат их на нужном месте. Смуглый, предприимчивый и веселый крепыш, он был всецело ими поглощен. Если самолеты находились высоко, а не просто выписывали круги и садились, Джонни любил следить за ними, улегшись на спину. Мне думается, это давало ему ощущение, что он тоже витает там, наверху. Мое теперешнее, взрослое сопереживание подсказывает: ему, должно быть, казалось, что он покидает недвижную твердь и делит с самолетами ясную, вольную бездну из света и воздуха.

– Это старенький «де хэвиленд». В одном из таких летали в этот… как там его…

– Он сейчас в облако угодит.

– Да ну, слишком низко. А вон давешний «мотылек».

Джонни был экспертом. Он ведал вещи, которые и поныне меня изумляют. Как-то раз мы следили за самолетиком, который висел в полумиле над городом в нашей долине, и тут Джонни вдруг завопил:

– Глянь, глянь! Он же в штопор входит!

Я скептически фыркнул, и Джонни ткнул меня в бок:

– Смотри, говорю!

Самолетик клюнул носом, сверкнул серебряной рыбкой – и как пошел вертеться, искрясь отблесками: раз! раз! раз! Затем он перестал крутиться, задрал нос и степенно проплыл над нами, а парой секунд позже донеслась и секвенция звуков мотора, вторивших каждому его маневру.

– Это «авро-эйвиан», они больше трех витков за раз делать не умеют.

– Почему?

– Не смогут выйти.

Однако по большей части мы наблюдали за взлетающими и садящимися самолетами. Если пройти вдоль канавы и свернуть дальше, на косогор, обдуваемый господствующими ветрами со стороны городишки, то открывался отличный вид сбоку на летное поле. Самолеты зачаровывали Джонни, а вылезавшие из кокпитов фигурки были для него богами. Я и сам в какой-то мере заразился его страстью и тоже кое-что усвоил. Я знал, что при посадке самолет должен коснуться земли обоими колесами одновременно. Очень любопытное зрелище, потому что порой боги ошибались, и тогда самолетик «козлил», приземляясь дважды на пятидесяти ярдах. Эти случаи наполняли меня восторгом, а вот Джонни сильно расстраивался. Создавалось впечатление, что всякий раз, когда самолетик терпел аварию – скажем, деформировался подкос шасси, – падали шансы, что Джонни выучится летать, когда подрастет. Так что в наши обязанности входило определение типов самолетов и наблюдение за тем, как их выводят из ангаров, обслуживают и пускают в полет. Насколько мне помнится, из полудюжины машин, стоящих на поле, как минимум одна была все время на ремонте. Особого интереса я не испытывал, но послушно следил за происходящим, потому что привязался к Джонни почти столь же сильно, как в свое время к Иви. Джонни был цельной натурой. Если выпадала нелетная погода, мы под дождем и ветром носились по меловым холмам, и Джонни почти все время держал руки в стороны – как два крыла.

Как-то раз на холм и влезать-то не было смысла, потому что мы едва различали его макушку. Но Джонни сказал – вперед, и мы пошли. Кажется, случилось это в пасхальные каникулы. До обеда погода еще держалась – ветреная, но вполне ясная, – зато потом всю долину залил дождливый туман. Ветер подталкивал в спину, понукая лезть вверх, а дождь находил нас, где бы мы ни прятались. Стоило повернуть лицо и приоткрыть рот, как щеки раздувало ветром. Конусный ветроуказатель на вершине не просто гудел, а ревел, да и выглядел обкорнанным, потому что свободный конец обтрепался донельзя. Мы оба считали, что его следовало бы снять, но что делать: он так и продолжал хлестать на ветру под пение оттяжек гнувшейся под дождем мачты. Джонни полез через проволочную ограду.

Я нерешительно помедлил.

– Может, не надо?

– Дава-ай!

Видимости на летном поле было с полсотни ярдов. Я бежал вслед за Джонни в содрогающейся траве – и знал, чего он хочет. Мы поспорили об отметинах, которые делает самолет при посадке, и хотели увидеть их воочию; вернее говоря, этого хотел Джонни. Смотреть приходилось в оба, потому что это было священное и запретное место, и дети здесь не приветствовались. Порядочно удалившись от проволоки, мы приближались к полосе, где садились самолеты, как Джонни вдруг замер.

– Ложись!

Едва проглядывая сквозь дождь, впереди маячил какой-то мужчина. В нашу сторону он не смотрел. У его ног стояла квадратная канистра, в руке он держал палку, а из-под дождевика выпирал какой-то комок.

– Джонни, нам лучше вернуться.

– Я посмотреть хочу.

Мужчина что-то крикнул, и откуда-то сверху, из тумана, донесся отклик. На аэродроме было полно народу.

– Джонни, пошли домой…

– Обойдем его с фланга.

Мы опасливо отступили в дождь с туманом и побежали в подветренную сторону. Но и тут стоял очередной человек с канистрой. Мы залегли, промокшие до нитки, и Джонни задумчиво прикусил кулак.

– Надо же, оцепление устроили…

– Они нас ищут?

– Нет.

Мы обошли последнего часового и очутились между полосой и ангаром. Эта игра мне уже наскучила, я проголодался, промок и порядком струхнул. А вот Джонни хотел ждать дальше.

– Будем держаться в стороне, они нас и не приметят.

Возле ангара звякнул и задребезжал колокол, знакомый мне и в то же время – в этих обстоятельствах – незнакомый.

– Что это?

Джонни, вытирая нос тыльной стороной ладони:

– Скорапомощь.

Ветер поутих, но воздух набряк темнотой. Низкая облачность несла с собой сумерки.

Джонни встрепенулся:

– Слышишь?

Едва заметный мужчина возле канистры тоже, должно быть, что-то услышал, так как замахал рукой. Над нами, окутанный туманным саваном как привидение, появился «де хэвиленд», чей допотопный профиль ускользал от глаз. Со стороны ангара донесся шум заводимого мотора санитарной кареты, кто-то принялся зычно командовать. Человек возле канистры стал поспешно макать палку в канистру. Ветер накрыл его черным дымом с наветренной стороны, где мерцала какая-то искорка. Ком тряпья на конце палки неожиданно занялся пламенем, а по соседству одна за другой вспыхивали новые искорки; их набралась целая шеренга. Вновь прогудел «де хэвиленд».

Туман к тому времени настолько сгустился, что от мужчины с факелом осталось лишь расплывчатое пятно света. Судя по звуку мотора, самолет закладывал вираж, гудел то ближе, то дальше – и вдруг вынырнул совсем рядом, темной кляксой прополз над нами и ангаром. Мотор взрыкнул как-то особенно громко, раздался хруст и треск лопающегося дерева, а потом и глухой, тяжелый удар, словно громыхнула пушка. Стройная шеренга огней в тумане развалилась, торопливо потянулась мимо нас.

Джонни сложил ладони рупором и зашептал, словно кто-то мог подслушать:

– Давай-ка мимо ангара и мотаем отсюда.

Молчаливые и перепуганные, мы на рысях махнули к подветренной стенке ангара. Его неосвещенный торец был окутан дымом, в мокром воздухе чем-то пахло, а с противоположной стороны полыхало, билось пламя пожара. Едва мы свернули за торец и припустили к дороге, как невесть откуда возник человек. Высокий, без головного убора, вымазанный черным. Он заорал:

– А ну кыш отсюда! Еще раз замечу, спущу на вас полицию!

С тех пор Джонни какое-то время опасался подходить к аэродрому.

На другом холме, где нынче живу я, стоял генеральский особняк. Хозяин был из рода Плэнков, стрелял крупную дичь, а его жена открывала благотворительные

базары. Семейство владело пивоварней у канала; где начиналась газовая станция, а где пивоварня – с ходу и не скажешь. Но все равно канал был просто неотразим: грязный, подернутый радужной пленкой, живший своей жизнью благодаря трубам, откуда постоянно хлестала горячая вода. Иногда под заляпанной мазутом стенкой причаливали баржи, и мы однажды ухитрились забраться на борт, где и притаились под брезентом. Впрочем, нас оттуда все-таки погнали, и вот как вышло, что в тот день мы впервые сделали вылазку на улицы другого холма. Бежать пришлось всю дорогу, потому что баржой командовал настоящий великан, не любивший детей. Этот подвиг нас изрядно вдохновил, и мы, по инерции восторга, влипли в очередное приключение. К позднему вечеру мы наконец добрались до ограды генеральского сада. Отдышавшись, Джонни пустился в пляс на тротуаре. Никому нас не поймать. Мы самые быстроногие. Это не под силу даже генералу.

– Генералу?! Да ты спятил! И не смей!

Но Джонни еще как смел.

Вообще-то его похвальба не была столь уж дерзновенной. Забраться в генеральский сад попросту не вышло бы из-за очень высокой, сплошной ограды; к тому же репутация хозяина – охотника на львов – дала ход слухам, что по его уединенным акрам рыщут дикие звери; а мы верили этим слухам, чтобы сделать жизнь увлекательнее.

Да, Джонни еще как смел. Мало того, твердо зная, что ограда неприступна, он взялся отыскать способ проникнуть внутрь. Словом, мы пошлепали по улице, восторгаясь собственным нахальством и выглядывая в стене несуществующий лаз. Миновали сторожку, добрались до угла, свернули вдоль ограды на юго-восток, затем обследовали тыльную сторону. Повсюду сплошной кирпич, из-за которого выглядывали кроны деревьев. И тут мы разом замерли, не говоря ни слова. Да и что тут скажешь? Ярдов тридцать кладки обрушились, завалились внутрь, на деревья; темнеющая брешь напоминала всосанную нижнюю губу. Кто-то о ней уже знал, потому что кромка была загорожена проволочной сеткой, но целеустремленных верхолазов этим не остановишь.

Наступила моя очередь веселиться.

– Ну, Джонни, кто там хвастался?

– С тобой на пару.

– Я ничего такого не говорил!

Мы едва различали друг друга под сенью деревьев. Я двинулся следом, пробираясь рядышком со стенкой, где кустарники и ползучие побеги росли плотными и, по всей видимости, никем не посещаемыми дебрями.

Здесь пахло львами. Я сказал об этом Джонни, так что некоторое время мы оба стояли затаив дыхание и слушая собственные сердца, пока не раздался какой-то новый звук. Был он похуже любого льва. Мы обернулись и напротив проема увидели – его; вернее, его куполовидный шлем и верхнюю половину темной униформы, потому как сам полицейский стоял нагнувшись и разглядывал потревоженную сетку. Решение мы приняли молча. Беззвучные как кролики под забором, мы крадучись полезли вперед, подальше от фараона и навстречу львам.

Настоящие джунгли, а обнесенный оградой участок был целой страной. Наконец мы вышли к изрытому колеями пятачку, где шеренгами стояли какие-то стеклянные ящички, и там увидели мужчину, возившегося в дверях сарая. Пришлось быстренько удирать назад в кусты.

Залаяла собака.

Мы переглянулись в тусклом свете. Приключение принимало новый, крутой оборот.

Джонни буркнул:

– Ну, Сэм, как будем выбираться?

Через пару секунд мы уже вовсю попрекали друг друга и заливались слезами. Фараоны, работники, собаки – мы были окружены.

Перед нами расстилалась широкая лужайка, упиравшаяся на том конце в задний фасад особняка. Кое-где в окнах горел свет. Под окнами явно пролегала терраса, потому что вдоль карнизов с ритуальной торжественностью

перемещалась некая темная фигура с подносом в руках. Уж не знаю почему, но такая сановитость нагнала на нас больше страху, чем мысль о львах.

– Как мы будем выбираться? Я домой хочу!

– Тс-с! Иди за мной, Сэм.

Мы тихонько обогнули лужайку с края. Высокие окна заливали траву длинными полосами света, и, чтобы не угодить в них, всякий раз приходилось нырять в кусты. Понемногу возвращалась бодрость духа. Ни львы, ни полицейские нас не заметили. Обнаружив темный закуток возле белой статуи, мы там и залегли.

Неспешно стихали людские голоса, и вместе с ними угасала наша нервная дрожь, так что львы оказались позабыты. Заблестел высокий фронтон особняка, полная луна выплыла над крышей, и сад тут же преобразился. Прудок возле дома замигал серебряным глазом; статные, осанистые кипарисы повернули матовый, словно подернутый инеем бок к ночному светилу. Я взглянул на Джонни: на его отчетливо видимом лице расплылось благодушие. Ничто нам не угрожало и не могло угрожать. Мы поднялись с земли и стали молча бродить по саду. Порой оказывались по грудь в темноте, порой утопали в ней с головой и затем выныривали, облитые лунным сиянием. Задумчивые статуи белели среди черных хвойных глубин, углы и закоулки сада бахвалились деревьями в цвету: редкость, которую в этом месяце нигде больше не увидеть. По правую руку от нас шла дорожка с каменной балюстрадой и цепочкой каменных ваз, окутанных резными каменными цветами. Здесь куда лучше, чем в парке, потому что опасно и запретно; да, лучше, чем парк, потому что тут есть луна и тишина; лучше, чем волшебный особняк, освещенные окна и бродившая под ними фигурка. Здесь мы как бы нашли себе дом.

Из особняка донесся взрыв смеха; завыла собака. Я вновь машинально брякнул:

– Хочу домой.

Чем объяснить ту защищенность, которую мы испытывали в этом необычном месте, в чем был его секрет? Нынче, пустив в ход воображение, я вижу нас со стороны: наивные оборвыши; на мне лишь рубашка да штаны, Джонни одет едва ли лучше, и вот мы бродим по саду замечательного особняка. Но я никогда не видел нас вчуже. В моем сознании, стало быть, мы остаемся двумя крупицами

восприятия, блуждающими по раю. Я могу только догадываться о нашей невинности, но испытывать ее не в состоянии. Если я и чувствую расположенность к оборванцам, то лишь в отношении двух незнакомых людей. Мы медленно продвигались к деревьям, где обвалилась ограда. Наверное, мы заранее прониклись верой, что фараон успел уйти и нам ничто не воспрепятствует. Разок набрели на белую дорожку и поскользнулись на ней, слишком поздно поняв, что она покрыта свежим, еще не застывшим бетоном. Впрочем, ничего другого в саду мы не нарушили – ничего с собой не взяли, да и почти ничего не трогали. Мы были глазами.

Прежде чем вновь закопаться в подлесок, я обернулся. Этот миг хорошо запомнился. Мы находились в верхней части сада, откуда открывался вид на весь участок. Луна расцвела в своем заповедном, сапфировом свете. Сад же был черно-белым. Между нами и лужайкой стояло одинокое дерево: самое недвижное из всех, росшее лишь в те часы, когда на него не падали людские взоры. Громадный ствол, четкие ярусы ветвей, по которым – как мазутная пленка на воде – расплывались черные листья. Распластанные ветви слоями рассекали мятую фольгу пространства, объятого спокойствием слоновой кости. Позднее я научился называть это дерево кедром и шагать мимо, но в ту минуту это было для меня библейским откровением.

– Сэмми! Он свалил.

Джонни отогнул проволочную сетку и высунул свою героическую голову. На дороге ни души. Мы вновь стали маленькими дикарями и, юркнув наружу, выпали на тротуар. Ограду починят, да и дерево в саду вырастет – но уже без нас.

Сейчас я знаю, чего ищу, и почему эти кадры отнюдь не случайны. Я оттого их привожу, что они кажутся важными. К прямому сюжету моего рассказа они мало чего добавляют. Если б нас поймали – как оно со мной впоследствии и случилось, – и за ухо отволокли к генералу, он, пожалуй, запустил бы в ход механизм, который изменил бы мою жизнь или жизнь Джонни. Но описанные мною кадры важны вовсе не этим: они значимы фактом самого своего существования. Я – их сумма, таскаю с собой этот груз памяти. Человек – тварь не сиюминутная, его нельзя считать просто физическим телом, отзывающимся на нужды текущего мгновения. Он – невероятный сверток из всевозможных воспоминаний, чувств, окаменелостей и коралловых наростов. Я не тот мужчина, что некогда был глазеющим на дерево мальчишкой. Я – мужчина, который

помнит себя таким мальчишкой. Вот она, разница между временем, разложенным в бесконечный ряд мертвых кирпичиков, и временем, заново переснятым и прокрученным на фотопленке воспоминаний. К тому же есть нечто еще более простое. Я могу любить того ребенка в саду, на аэродроме, в Гнилом переулке, маленького сорвиголову-школяра, потому что он – не я. Он сам по себе. Если б его умертвили, я не стал бы испытывать чувство вины или хотя бы ответственность. Но что ж тогда я ищу? Я ищу начало этой ответственности, начало мрака, точку моего отсчета.

Филип Арнольд составлял третью сторону нашего мужского треугольника. Как мне его описать? Мы окончили приготовительный класс, перешли в мужскую школу, начальную, пронизанную ветром и асфальтированную. Я был упрям, физически крепок, закален, полон бодрости духа. Между кадрами Сэмми Маунтджоя с Иви и Сэма Маунтджоя в компании Джонни и Филипа лежит пропасть. Первый был ребенком, второй – мальчишкой, а вот градации исчезли. Два разных человека. Филип был со стороны, из квартала особняков. Бледный паренек, физическое воплощение предельного труса, с характером, который в наших глазах смахивал на размокший спичечный коробок – и все же ни генерал, ни бог на аэродроме, ни Джонни Спрэгг, ни Иви, ни даже мать не изменили мою жизнь так, как это сделал Филип.

Мы считали его размазней; любое насилие вгоняло Филипа в ступор – что и превращало его в отличную мишень: если у тебя чесались кулаки, он был всегда под рукой. Этих его свойств было достаточно, чтобы походя намять ему шею или дать пинка, а вот нечто более изощренное требовало тщательной подготовки, так что Филип нашел простой способ самоизбавления. Начать хотя бы с того, что он умел очень быстро бегать, а за перепуганным Филипом вообще никто не мог угнаться. Понятное дело, иногда мы загоняли его в угол, однако он изобрел тактику и на этот случай: сжимался в комок, даже не думая отбиваться. Может, тут проявлялся скорее инстинкт, нежели изобретательный ум, но этот прием срабатывал очень эффективно. Если ты не встречаешь сопротивления, то не можешь вдруг слиться заодно со своей жертвой; напротив, спустя какое-то время тебя брала скука. Филип съеживался как кролик под ястребом. Ни дать ни взять, кролик. Ну а затем, покамест он молча дергался под ударами, игра утрачивала всю свою прелесть. Вместо суетливой дичи ты видел мешок, невыразительный и неинтересный. Сам того не зная, Филип был философом с политической жилкой и умел добиваться желаемой цели. Он подставлял другую щеку, и мы отваливали в поисках более пикантной дичи.

Меня тревожит, что вы примете Филипа за простодушного недотепу. Пожалуй, он и впрямь напоминает главного героя из тех книжек, что одна за другой появлялись в двадцатые годы. Эти герои не годились в подвижные игры, были несчастными, непонятыми – мало того, трагическими – душами в школе, пока не достигали восемнадцати-девятнадцати лет и публиковали сногсшибательный томик стихов или посвящали себя оформлению интерьеров. О, нет-нет. Мы, конечно, вели себя по-хулигански, однако и Филип не был простачком. Он любил драки, когда доставалось кому-то другому. Если мы с Джонни устраивали потасовку, Филипп вихрем мчался на шум и аж приплясывал, хлопая в ладоши. Когда на спортплощадке мы устраивали кучу малу, наш бледноликий, пугливый Филип бегал кругами, заходя то с одной, то с другой стороны, и, подхихикивая, бил ногой по самым нежным местам в пределах досягаемости. Ему нравилось делать больно, а катастрофы и вовсе доводили до оргазма. По пути к главной улице имелся один опасный перекресток, так в гололедицу Филип проводил там все свободное время, надеясь поглазеть на какую-нибудь аварию. Если вам встретится пара-тройка юнцов, без дела околачивающихся на перекрестке – где угодно, хоть за городом, – то знайте, что как минимум один из них именно этого и дожидается. Мы азартная нация.

Филип не был – и не является – типажом. Весьма любопытная и сложная личность. Мы держали его за слюнтяя, достойного лишь презрения, но на деле он был куда опаснее любого из нас. Я был вожаком, и Джонни был вожаком. Каждый сколотил себе банду, и между нами вечно висел вопрос решающей битвы. С грустным удивлением я вспоминаю этих двух варварских главарей, до того невинных и простодушных, что они списали Филипа со счетов как мокрицу. Филип – яркий пример естественного отбора. Он как цепень в кишках был приспособлен к выживанию в этом современном мире. Я был вожаком, и вожаком был Джонни. Филип взвесил все аргументы и выбрал меня. Я думал, что нашел себе оруженосца, а он оказался моим Макиавелли. С бесконечным тщанием и истерической одержимостью самосохранением Филип стал моей тенью. Обитая рядом с наиболее отчаянными из всей шатии-братии, он чувствовал себя защищенным. Поскольку он был так близок, я не мог устроить на него облаву, и мои охотничьи рефлексы уже не срабатывали на Филипа. Робкий, жестокий, взыскующий и в то же время страшащийся компании, быстроногий слабак, хитрый, сложный, никогда не бывший ребенком – он стал моим бременем, моим кривым зеркалом, моим льстецом. Тем, чем я, пожалуй, был в свое время для Иви. Он внимал и прикидывался, что верит. Фантазировать, как Иви, я не умел, мои рассказы выпячивали, а не замещали собой жизнь. Тайные общества, экспедиции, сыщики, Секстон Блейк («взревев, громадный грузовик прыгнул вперед»)… он делал вид, что всему верит, и вился вокруг меня

вьюном. Кулаки и слава принадлежали мне – и я же был его шутом и глиной. Пусть он и не умел драться, зато ведал одну вещь, о которой мы ничего не знали. Филип разбирался в людях.

Мы все увлекались сбором вкладных картинок из сигаретных пачек. Обычное дело. У меня не было отца, источника материала для коллекции, а мать курила жуткую дешевку, которая распространялась благодаря не рекламе, а нищете покупателей. Никто бы не стал довольствоваться этой дрянью, если б мог позволить себе нечто получше. Единственное и весьма ограниченное чувство ущербности, которое я испытывал в Гнилом переулке, связано именно с этим обстоятельством: не в том смысле, что у меня не было отца, а просто недоставало картинок. То же самое я бы чувствовал, если бы моя семья была полноценной, но родители не курили. Вот и приходилось клянчить у прохожих:

– Мистер, у вас не найдется сигаретных картинок?

Нравились мне эти картинки, а в особенности – уж не знаю почему – я предпочитал серию с египетскими царями. Как было б хорошо, думал я, если бы у всех людей были их строгие, гордые лики. А может, я слишком усложняю, вперяя в прошлое свой взрослый взгляд? Уверен я лишь в одном: мне нравились цари Египта, они дарили удовольствие. Все прочее – безусловное истолкование взрослого человека. Этими картинками я очень дорожил. Выклянчивал их, выменивал, дрался за них, сочетая тем самым дело и потеху. Увы, вскоре никто из ребят потолковее не решался вступать со мной в схватку за картинки, потому как я всегда одерживал верх.

Филип соболезновал, тыкал меня носом в мою нищету, лишний раз указывая на мучительность стоящего передо мной выбора: или потерять надежду на пополнение коллекции царей, или выменять их на что-то иное и тем самым навечно расстаться с моей первой серией. Я по привычке дал Филипу затрещину – пусть не наглеет, – но сам знал, что он прав. Египетские цари были мне недоступны.

И тогда Филип сделал второй шаг. Кое-кто из малышей тоже владел картинками, которые были им совершенно ни к чему. Видеть, как они мусолят египетских царей, не зная им цены… Стыдобища!

Помню красноречивую паузу Филипа, помню, как пронзило меня чувство одиночества и вороватой затаенности. Я оборвал всю его промежуточную цепочку:

– Ну и как их заполучить?

Филип тут же подстроился. Я взял быка за рога, а он встал на мою позицию без дальнейших рассуждений. В таких делах он был гибким как резина. Все что нам надо – он так и сказал: «нам», это я отчетливо помню, – так это устроить засаду в каком-нибудь глухом местечке. А потом забрать картинки поценнее, раз уж они им ни к чему. Итак, требовалось подыскать глухое местечко. У туалета, до или после занятий – но только не на перемене, объяснял Филип. В это время там толпа. Сам он встанет посредине спортплощадки и подаст сигнал, ежели рядом объявится кто-то из учителей. Что касается сокровища (ибо с этого момента картинки объявлялись сокровищем, а мы – пиратами), оно подлежит дележке. Я могу оставить себе всех царей Египта, а он заберет остальное.

Это предприятие принесло мне одного египетского царя, а Филипу – штук двадцать всевозможных картинок. Замысел оказался короткоживущим и малопривлекательным. Я сидел в вонючем сарае, праздно разглядывая надписи, оставленные нашими более грамотными представителями, и особенно заметными оттого, что их тщательно соскребывали. Сидел и ждал в пропахшей креозотом тишине под звуки автоматически наполнявшихся и опорожнявшихся туалетных бачков – денно и нощно, независимо от наличия или отсутствия клиентуры. Стоило появиться мелковозрастной жертве, как я без стеснения выкручивал ей руки, а вот отбирать картинки было неприятно. К тому же Филип просчитался, хотя я уверен, что урок пошел ему на пользу. Дело с самого начала оказалось отнюдь не столь простым, как мы думали. Старшеклассники быстро раскусили, что к чему, и захотели войти в долю, так что мне пришлось драться чаще, но без призового фонда; к тому же кое-кто из них вообще возражал против всего мероприятия. Затем поток мелюзги вовсе иссяк, а еще через пару деньков я очутился пред очами директора. Один из малюток, видите ли, отпросился с урока справить нужду, но сделал это за кирпичной стенкой котельной. Еще один элегантно обмочился прямо в классе, разревелся и сквозь сопли объяснил, что боится отпрашиваться из-за «большого мальчика». Устоявшийся процесс их обучения был немедленно прерван. Вскоре у кабинета директора выросла очередь из малышей, дававших свидетельские показания. Все тыкали пальцем в сторону Сэмми Маунтджоя.

Школа была гуманная и просвещенная. Зачем наказывать мальчика, если его можно заставить осознать вину? Директор старательно объяснил жестокость и бесчестность моих поступков. Он не спрашивал, делал я это или нет, ибо не хотел давать мне шанс соврать. Обрисовал связь между моей страстью к царям Египта и масштабом захлестнувшего меня искушения. О роли Филипа он не догадывался и ничего нового не узнал.

– Потому что тебе нравятся эти картинки, да, Сэмми? Только отнимать их никак не годится. Попробуй их нарисовать. И надо бы вернуть все, что сможешь. Постой-ка… вот, возьми эти.

И он дал мне трех египетских царей. Думаю, ему пришлось изрядно помучиться, чтобы их найти. Директор был славным, заботливым и старательным человеком, который и на милю не приблизился к пониманию детей, вверенных его попечению. Он оставил розги в углу, а мою вину – на моих плечах.

Вот она, искомая точка отсчета?

Нет.

Не здесь.

Но это еще не самое главное, чем удружил мне Филип. Следующим номером шел шедевр одержимости. И хотя его можно считать неумелой демонстрацией, небрежной ученической поделкой, он показал мне Филипа не просто абрисом, а в трех измерениях. Подобно ледяной макушке, которая торчит над водой и свидетельствует о великой пучине. Филип всегда был схож с айсбергом. Он до сих пор бледен, до сих пор погружен в себя, едва различим и опасен для мореплавателей. После истории с сигаретными картинками он какое-то время меня сторонился. Я же стал еще активнее нарываться на драки и не думаю, что более яростное желание подчинять и делать больно доступно для осознания лишь умудренным взрослым. Своим звездным часом я обязан Джонни. Из-за какого-то невразумительного и необузданного гнева на нечто и вовсе неопределенное я набросился на единственный предмет, который, как я отлично знал, не дрогнув примет бой: Джоннино лицо. Но когда я заехал ему в нос, он оступился и раскроил себе голову об угол школьного здания. Его мать пошла к

директору – Джонни, кстати, изо всех старался меня убедить, что он тут ни при чем, – и на меня вновь свалились неприятности. До сих пор помню чувство вызова и одиночества: человек против общества, вот что я тогда испытывал. В первый, но не в последний раз меня стали избегать. Директор полагал, что соответствующий срок в Ковентри[5 - Здесь: колония для малолетних преступников.] продемонстрировал бы мне ценность социальных контактов и убедил бы отныне не пользоваться людьми взамен подвесной груши.

В этот-то период ко мне вновь пристроился Филип. Он заверил меня в своей дружбе, и мы быстро спелись, потому что других приятелей я растерял. Джонни всегда уважал начальство. Если директор приказывал заткнуть рот, Джонни сидел тихо как мышь. Он любил приключения, но почитал власть. Филип же испытывал к начальству скорее не пиетет, а настороженность. Вот и подкатил ко мне вновь. Не исключено, что среди учителей он даже прослыл преданным другом и тем самым поднял свои акции. Кто знает? Я уж точно был ему признателен.

Умозрительно воссоздавая и оценивая наши отношения в те памятные недели, я прихожу в замешательство. Неужто он и впрямь был прожженным интриганом в столь нежном возрасте? Да возможно ли, что уже в ту пору Филип был таким трусливым, опасным и искушенным?

Когда я прочно к нему приклеился, Филип свернул разговор на религию. Эта тема была для меня не поднятой целиной. Если б я окрестился прямо сейчас, то это было бы крещением с оговоркой. Я проскочил сквозь эту сеть. Но Филип был англиканцем, причем (что совсем уж нехарактерно для тех дней) его родители блюли свою веру строго и преданно. Я лично познакомился с этой невероятной ситуацией с чужих слов, да и мало чего в ней понял. В школе у нас были заведены молитвы и псалмопения, но из них я запомнил только марш, под который мы шагали в классные комнаты, и еще тот случай, когда Минни показала нам разницу между человеком и животным. Раза два к нам заглядывал пастор, однако ничего не случилось. Мне нравилось слушать из Библии – и это чистая правда. Я все принимал в пределах границ читаемого урока. Если б в ту пору какая-то конфессия удосужилась сделать нужное усилие, я бы свалился им в руки как спелая груша.

Но Филип даже в том свежем возрасте начал объективно приглядываться к своим родителям и сделал определенные выводы. Отважиться на решительный шаг он не посмел, однако замер на самом краю, рассудив, что все это глупости.

Хотя и не совсем. Загвоздка была в викарии. Филипу приходилось посещать какие-то занятия – вроде бы насчет подготовки к конфирмации[6 - Первое причастие юношей и девушек в англиканской церкви, обычно в возрасте 13–16 лет.]. А может, он был еще слишком юн? Собственно пастор, чудаковатый, одинокий старик, не имел к этому никакого отношения. Поговаривали, что он пишет некую книгу, а жил он во внушительном доме при церкви, на пару с почти столь же дряхлой экономкой.

Чем на тот момент была для нас религия? Для меня ничем, а для Филипа – источником раздражения и досады. Лучше всех, пожалуй, устроился Джонни Спрэгг благодаря своему бездумному соглашательству и непотревоженности ума. Он знал, чего ждать от мисс Мейси, принимавшей жесткие меры к тому, чтобы мы усвоили все нам положенное. Да уж, мы знали свое место: запуганные до полусмерти и прибитые молниями, стоило только на секундочку отвлечься. Она была справедлива, но свирепа. Тощая, седовласая женщина, мисс Мейси все держала под полным контролем. Как-то раз, после обеда в погожий денек, когда за окном синело небо с громадами белых облаков, читала она нам урок. Раз уж мы не осмеливались делать ничего другого, глаза класса были прикованы к мисс Мейси – у всех, кроме Джонни. Он поддался своей главенствующей страсти. Среди облаков показался «мотылек» и принялся выписывать «горки», петли, спирали, вовсю нанизывая высокие небеса над Кентом. С ним был и Джонни. Он летел. Я понимал, что сейчас произойдет, и украдкой даже попытался его предостеречь, но мой шепот утонул в свисте ветра в расчалках и мерном рыке мотора. Мы знали, что мисс Мейси засекла нарушителя, потому что в атмосфере повисло еще больше благоговейного ужаса. Она продолжала говорить как ни в чем не бывало. Джонни вошел в штопор.

Мисс Мейси закончила изложение.

– Итак, дети, вы не забыли, отчего я рассказала вам эти три притчи? О чем они нам говорят? Филип Арнольд? Можешь ответить?

– Да, мисс.

– Дженни?

– Да, мисс.

– Сэмми Маунтджой? Сюзан? Маргарет? Роналд Уэйкс?

– Мисс. Мисс. Мисс. Мисс.

А Джонни заходил в пике на мертвую петлю. Он сидел и копил под своим стулом ту мощь, что вознесет его в небо. В летчицком шлемофоне, уверенный в себе, тонко чувствующий руль направления и штурвал, обдуваемый могучим ветром и запахом машинного масла, вездесущим, как жареная рыба с картошкой. Джонни медленно взял штурвал на себя, титаническая длань взметнула его ввысь, и он перевернулся вверх ногами на вершине петли, покамест никчемная черная земля с легкостью тени неслась куда-то вбок.

– Джонни Спрэгг!

Аварийная посадка.

– Марш сюда.

Джонни с громыханием вылез из-за парты платить по счетам. Полеты – дело недешевое: три фунта на двухместнике и по тридцать шиллингов в одиночку за каждый час.

– Так почему я рассказала вам эти три притчи?

Джонни держал руки за спиной, уронив подбородок на грудь.

– На меня смотри, когда я к тебе обращаюсь!

Подбородок чуток приподнялся.

– Почему я рассказала вам эти три притчи?

Мы еле разобрали его ответное бормотание. «Мотылек» убрался прочь.

– Незнаюмисс…

Мисс Мейси хлещет Джонни по обеим щекам, меняя руки. За каждым словом – пощечина.

– Бог…

Бац!

– …есть…

Бац!

– …любовь!

Бац! Бац! Бац!

Мы знали, чего ждать от мисс Мейси.

Итак, религия пусть и бессистемно, но вошла в наши индивидуальные жизни. Думаю, мы с Джонни смирились с ней как с неизбежной составляющей загадочного порядка вещей, всецело нам неподвластного. Правда, мы еще не сталкивались с викарием Филипа…

Он был бледным, напористым, искренним и святым. Пастор самоустранился от сонмища страхов и разочарований, впав в чудачества, так что за приходскими делами все больше и больше приглядывал отец Ансельм. Народ, развесив уши, внимал его захватывающим и пугающим проповедям. Свои рассуждения он приспосабливал к уровню аудитории. И словил Филипа. Проскользнул сквозь выставленное им охранение и принялся угрожать его знанию людей, его себялюбию. Он вытаскивал свою паству к главному алтарю и ронял ее на колени, даже не впадая в присущий валлийцам ораторский раж. Отец Ансельм оперировал конкретикой. Например, демонстрировал потир. Рассказывал про «Куин Мэри» или еще какой-нибудь грандиозный инженерный проект, над которым в тот момент шла работа. Вещал о богатстве. Вытягивал вперед серебряную чашу. У кого-нибудь найдется шестипенсовик, дети? Серебряный шестипенсовик?

И наклонял чашу. Внемлите, дети: вот о чем думают цари египетские. Потир-то вызолочен чистым золотом.

Филип был пронзен до самых пят. Ага, стало быть, в этом что-то есть. Они истолковали суть данного вопроса с тем же утилитарным пиететом, который задействовали во всех прочих делах. Позолотили его. В даровитом, извращенном уме Филипа религия отряхнулась ото лжи и ответов в духе «Вы спрашиваете, откуда берутся дети? Их находят в капусте», став величественной силой. Но викарию этого было мало. Оглушив Филипа потиром, он прикончил его алтарем.

Вы, дети, этого не видите, но там живет Сила, сотворившая Вселенную и служащая вам опорой. К счастью, вы не можете ее видеть, как не дано было видеть и Моисею, хоть он об этом и просил. Если б пелена спала с ваших глаз, вас бы разнесло в клочки. Так вознесем же молитву, смиренно преклонив колена.

А теперь ступайте, голубчики. Захватите с собой мысль об этой Силе – возвышающей, утешающей, любящей и карающей, об оке недремлющем и опекающем без устали.

Филип ушел на прободенных ногах. Он не сумел объяснить мне, в чем дело, но теперь-то я знаю. Если все это правда, если это не очередная порция лапши, по-отечески навешиваемой на уши, то на какое будущее мог рассчитывать Филип? К чему тогда его интриги и дипломатия? А расчетливое манипулирование людьми? Что, если и впрямь существует иная шкала ценностей, на которой цель не оправдывает средства? Филип не умел это выразить, однако мог передать свое настоятельное, отчаянное желание узнать. Для меня золото всегда было символом, а не металлом. Я с восторгом выковыривал его из школы – смирна и чистое золото, златой телец – ах, как жаль, что его стерли в прах! – золотое руно, Златовласка, Златовласка, распусти свои… золотое яблоко, о золотое яблоко!.. Их свет заливал мое духовное око, и я ничегошеньки не видел в Филиповом потире, кроме новой порции мифов и легенд. Однако сейчас я был изолирован и пребывал в Ковентри. По этой-то причине Филип вновь ко мне пристроился. Орудуя своей окаянной проницательностью, он взвесил и обмерил мое одиночество, мою озлобленность и вызывающую самонадеянность. Уже тогда он умел выбрать для дела верный момент и правильного человека.

Ибо как можно апробировать истинность заявлений отца Ансельма? Разумеется, здесь годился единственный метод: тот самый, что придуман для неосвещенных

домов. Я бы звонил в дверь и убегал. Филип же занимал бы наблюдательную позицию и по результирующему отклику выносил суждение, есть ли кто в доме. Но перед этим меня нужно было довести до кондиции посредством моего одиночества и крайностей характера. Для начала он заработал себе мою благодарность. И мы пошли с ним вдоль канала. На перемене, пока дежурный учитель глядел в сторону, Филип завел разговор. Ведь он мой единственный друг. А остальные… да на черта они сдались, правда, Сэмми? Ну. Я как Большой Хью[7 - См.: Оскар Уайльд, «Настоящий друг».], мне на всех плевать. Даже на директора. Вон его окошко. Хочешь, расшибу?

– Заливаешь?

– Сказал расшибу, значит, расшибу.

– Серьезно?

Да я б и полицмейстеру окошко вынес, ясно?

Тут-то Филип и подверстал церковь к разговору. Стояла осень, темнело. Самое время для отчаянного дельца.

Нет, окна бить не надо, сказал Филип, и стал меня вываживать своими «ой да ладно!», «кишка тонка» и прочее, а я заводился все сильнее, пока он меня не подсек. Еще сумерки не претворились во мрак, как я… «Да, Сэмми, я знаю, ты можешь вздуть любого из нашей школы, но вот такое… не-ет, тут у тебя пороху не хватит… да ладно, Сэмми, забудь, все равно тебе слабо…». И все это подхихикивая, ужасаясь и хлопая в ладошки от предвкушения обещанной катастрофы.

– Да запросто! Расстегну ширинку и уделаю его вдоль и поперек.

Хи-хи-хи, шлеп, бр-рр, аж сердце выпрыгивает.

И вот через «слабо? – не слабо?» на осенней улице меня наконец-то подписали на осквернение главного алтаря. О улица, хладная в купоросном дыме и медном лязге! Да славится твой бурый пакгаузный профиль с газовым заводом под предвечными небесами! Да славится громаднейший лабаз из всех,

притулившийся к кущам и оссуарию, подальше от сверкающего канала!

Пританцовывая и прихлопывая, Филип продвигался в авангарде, а я шел следом в сети ловца человеков. Не могу сказать, что меня знобило, хотя зубы так и норовили клацнуть, если я забывал стискивать челюсти. Пришлось окликнуть Филипа, чтобы он минутку обождал под мостом через канал, где я возмутил водную гладь концентрическими, разбегающимися кругами со взбитой пеной. Филип тем временем сбегал вперед и вернулся – ни дать ни взять, щенок на прогулке с хозяином. По дороге я обнаружил, что у меня какие-то нелады с кишками, так что очередную остановку я сделал в темном переулке. Но Филип по-прежнему приплясывал вокруг меня, сверкая белыми коленками в полумраке. Слабо, слабо тебе, Сэмми…

Мы пришли к каменной ограде кладбища, угрюмым тисам и крытому входу, через который заносят гробы. Я вновь тормознул и попользовался стенкой, которую до меня орошали собаки, затем Филип лязгнул задвижкой, и мы вошли. Он перемещался на цыпочках, я брел за ним, и перед глазами у меня тьма разворачивала свои странные формы. Нас окружали высокие камни, а когда Филип поднял засов в разверстом зеве притвора, раздался такой звук, словно дверь вела в средневековый замок. Я крадучись скользнул в кромешную тьму, нащупывая Филипа вытянутой вперед рукой – но и сейчас мы не были внутри. Там имелась вторая дверь с мягкой обивкой, и когда Филип ее толкнул, она с нами заговорила:

– Бах.

Все же я двинулся дальше, Филип меня впустил. Что и как делать я не знал, и отпущенная дверь опять бросила нам в спину:

– Бабах.

Церковь тянулась на мили; сначала появилось чувство, будто я попал в мир из полого камня, сплошных теней, намеков на глянцевые прямоугольники – неясных, как остаточное изображение на сетчатке, – непредсказуемых и пугающих фигур у самого носа. Я превратился в ничтожество со звенящими зубами, дергающейся кожей и волосами, растущими из самовольно расплодившихся мурашек. Филипа проняло не меньше моего. Но, видно, очень уж его заело. Я различал лишь его руки, физиономию и коленки. Физиономия

маячила рядом. У нас состоялся яростный и сумасбродный спор в тени внутренней двери у притвора, где на столе высилась горка требников – нам по плечо.

– Я же говорю, слишком темно! Не вижу ни черта!

– Ага! Испугался! Только и умеешь языком чесать.

– Так не видно ж ни зги…

Мы даже попихались: неуклюже, потому что из-за его непредсказуемой женской силы я как-то ослаб. А потом непроглядная тьма рассосалась. Возникли расстояния. Я пушечным ядром врезался в нечто деревянное с зелеными огоньками, которые завертелись вокруг меня, затем разглядел дорожку и скорее догадался, чем понял, что по ней-то и надо идти. По ногам мне сквозило горячим воздухом из металлических решеток в полу. В конце дорожки к небу тянулось скопище тусклоглянцевых прямоугольников, а под ними виднелась махина. Возле алтаря – горящая свеча с дерганым пламенем, словно ее держал маньяк. От тишины звенело в ушах: высокой, кошмарной нотой. Вот ступеньки, чтобы подняться, а вот гладь ткани с белой полосой. Шлепая по лужам горячего воздуха из напольных решеток, я бегом вернулся к Филипу. Мы опять поругались и сцепились. Меня обуял благоговейный трепет от этого места; даже мою речь – и ту приструнило.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание английского искусства XVI–XX вв. Названа по имени основателя, промышленника Генри Тейта. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Холм в графстве Корнуолл.

3

То есть членом «Благотворительного и покровительствующего ордена лосей».

4

Бывший центр тяжелой промышленности Англии (каменный уголь, руда, черная металлургия) к северо-западу от Бирмингема.

5

Здесь: колония для малолетних преступников.

6

Первое причастие юношей и девушек в англиканской церкви, обычно в возрасте 13–16 лет.

7

См.: Оскар Уайльд, «Настоящий друг».

Купить: https://tellnovel.com/ru/uilyam-golding/svobodnoe-padenie-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить